

ЯРОСЛАВ ЗОЛОТАРЕВ



НАША ЭММА

Ярослав Золотарёв

Наша Эмма

«Автор»

2026

Золотарёв Я.

Наша Эмма / Я. Золотарёв — «Автор», 2026

«Самая опасная женщина Америки» — так называл её Эдгар Гувер. А начиналось всё в Петербурге: девочка с перчаточной фабрики, «Что делать?» под подушкой и мечта о свободной Америке. Америка встретила её потогонкой, виселицами Хеймаркета и тюрьмами. Эмма Гольдман стала голосом, которого боялись президенты. Она защищала рабочих и право женщины распоряжаться собой, любила страстно и без оглядки, села в тюрьму за слово «нет» войне. Её выслали в революционную Россию, о которой она мечтала. И там она увидела Кронштадт. «Наша Эмма» — роман о женщине, которая полвека прожила без родины, но ни разу не промолчала. О любви, которая сильнее теорий, и об идеях, которые дороже жизни. О том, как любая революция может обернуться тюрьмой и почему правду всё равно нужно говорить вслух. В основе романа — мемуары Эммы Гольдман и её переписка.

© Золотарёв Я., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Петербург	6
Глава 1. Через ручей	6
1. Кёнигсберг	6
2. Ручей	8
3. Корчма	10
4. Бакалея	12
5. Нева	13
Глава 2. Шали и перчатки	17
1. Шали	17
2. Фабрика на Васильевском	18
3. Глаша	20
4. Гесья	22
5. Северцев	24
Глава 3. Учитель русского	29
1. Учитель	29
2. Засулич	31
3. Дядя Егор	34
4. Попеляны	37
5. Нигилист	39
Глава 4. Что делать?	44
1. Урок второй	44
2. Мастерская	45
3. Сходка	48
4. Фаршированная рыба	53
5. Литовец	56
Глава 5. Пассаж	60
1. Пассаж	60
2. Летний сад	63
3. Аресты	66
4. Клерк	68
5. Проводы	71
Глава 6. Бал	75
1. Бархат	75
2. Кража	78
3. Вашти	81
4. Бал	83
5. Рассвет	86
Глава 7. Нева	89
1. Гостиница	89
2. Молчание	91
3. Письмо из Рочестера	94
4. Ковно	98
5. «Эльба»	101
Часть вторая. Рочестер — Нью-Йорк	106
Глава 8. Касл-Гарден	106
1. Касл-Гарден	106

2. Город цветов	110
3. Фабрика Гарсона	112
4. Стелла	115
5. Розы	118
Глава 9. Восемь часов	125
1. Музыка	125
2. Первое мая	128
3. Два огня	131
Конец ознакомительного фрагмента.	136

Ярослав Золотарёв

Наша Эмма

Часть первая. Петербург

Глава 1. Через ручей

1. Кёнигсберг

Кёнигсберг пах мокрым камнем, копчёной рыбой с Прегеля и чужим, аккуратным достатком. В ноябре 1881 года семейство Гольдман из этого достатка выпадало окончательно, и Эмма понимала это не по словам матери, а по вещам.

Вещи уходили. Сначала комод с латунными ручками, который мать называла «прида-ным» и протирала по пятницам, как протирают лицо больного. Его унесли двое молчаливых немцев в фартуках, и на обоях осталось светлое пятно, похожее на дверь в другую комнату, которой никогда не было. Потом ушли подсвечники. Потом зеркало. Зеркало было жалче всего: двенадцатилетняя Эмма любила смотреть в него, когда никто не видел, и спорить со своим отражением.

Отражение было упрямое. Светлые волосы росли как хотели, круглый гребень держал их до полудня, а потом сдавался. Глаза синие, слишком внимательные, как говорила тётя: «Эта девочка смотрит так, будто запоминает, чтобы потом предъявить». Щёки красные от холода и от злости. Отец, уехавший в Петербург ещё летом, однажды сказал, что такую дочь ему подменила свинья торговка на рынке, потому что в роду Гольдманов светлых не было. Эмма тогда не заплакала. Она спросила, где этот рынок, чтобы пойти и забрать своих настоящих родителей. Отец ударил её, и вопрос остался без ответа.

Теперь отец был далеко, и в квартире стало просторнее и холоднее одновременно.

— Не трогай, — сказала мать, не оборачиваясь.

Эмма держала в руках стопку книг: Марлитт в зелёных переплётах, хрестоматию, тонкую книжку о прусской королеве Луизе, которую злой Наполеон обидел, как обижают только хороших женщин. Мать сидела у окна и зашивала в подкладку своего пальто деньги. Несколько бумажек, сложенных вчетверо. Игла входила в сукно с сухим звуком, будто кто-то шёпотом считал.

— Я их только положу, — сказала Эмма.

— Ты их положишь, и мне придётся нести. А я понесу Герману валенки, Егору одеяло, себе узел и тебя, если ты опять раскиснешь. Книги продадим.

— Не продадим.

Мать наконец обернулась. Таубе Гольдман была красива той красотой, которую Эмма видела только на портретах в лавках: тяжёлые тёмные волосы, высокий лоб, лицо, на котором усталость лежала, как вуаль. Когда-то она говорила с губернаторами. Об этом в семье рассказывали, как о чуде: мать ездила в Петербург и на коленях вымолила у самого Трепова своего брата, которого уже везли по этапу в Сибирь. Эмма смотрела на неё и не могла представить её на коленях.

— Марлитт оставь, — сказала мать неожиданно мягко. — Остальное продай. В Петербурге будут другие книги.

— Русские?

— Русские. Отец пишет, что там всё есть. — Она помолчала и добавила тише, будто не Эмме, а пальто: — Отец много чего пишет.

Эмма знала, что именно пишет отец, потому что читала письма раньше матери, держа конверт над чайником. Отец писал, что место у кузена, управляющим в мануфактурной лавке, хорошее, что в столице жизнь дорогая, но живая, что надо ехать немедленно, пока не закрыли, и что «детей надо держать в строгости, особенно её». «Её» было подчёркнуто дважды.

Про «пока не закрыли» Эмма не поняла и спросила учительницу. Фрейлейн Шмидт, бледная, всегда в шали, которая водила её в оперу на «Трубадура» и потом сама плакала больше Эммы, ответила не сразу.

— Евреям в России трудно, Эммхен. А сейчас станет труднее. После весны.

После весны. Весна в этом доме была одним словом, которое старались не произносить при детях, и поэтому дети говорили о ней постоянно.

Эмма помнила это утро в марте, как помнят солнечный ожог. Она шла в школу мимо ратуши, и на стене висел плакат, свежий, ещё влажный от клея, с чёрной каймой. Люди стояли перед ним кучкой, шляпы в руках, будто в церкви. Она протиснулась между пальто и прочла: русский император Александр Второй убит в Петербурге бомбой. Убийцы — «нигилисты», «злодеи», «враги рода человеческого». Слово «нигилисты» было напечатано крупнее остальных, как имя главного героя.

Дома мать рыдала. Это было непонятнее всего: мать никогда не плакала при детях, даже когда отец кричал так, что дрожали стёкла. А тут она сидела на кухне с газетой и повторяла, что царь был добрый, что он первый дал евреям вздохнуть, что он остановил погромы и освободил мужиков, и что убийц надо истребить. Всех до одного. До последнего.

«Истребить» было немецкое слово, *ausrotten*: вырвать с корнем. Эмма стояла в дверях, и ей стало холодно не от слова, а от лица матери. Оно было чужое. Красивое и чужое, как плакат на стене.

А в апреле пришло известие, что нигилистов повесили. Пятерых. Среди них женщину, Софью Перовскую, дочь генерала. Эмма прочла это в газете у булочника, пока ждала сдачу, и вышла на улицу, и вдруг заплакала так, что булочник выбежал за ней с её же булкой в руке и спросил, не украли ли у неё деньги. Она не могла объяснить. Она не знала этих людей, она знала только, что они убили доброго царя. Но женщина, дочь генерала, которую повесили вместе с её товарищами, не выходила у неё из головы. Как она шла? Что видела? О чём думала, когда ей надевали петлю?

Мать сказала: «злодеи». Фрейлейн Шмидт сказала: «несчастные». А Эмма ничего не сказала, но ночью придумала Перовской лицо, и лицо получилось похожим на Елену, на сестру, которая уехала с отцом в Петербург и писала оттуда короткие весёлые письма, ни слова не говорившие о главном.

Теперь они ехали туда. В город, где убили царя. В город, где повесили женщину.

— Эмма! Ты опять стоишь столбом!

Герман, восьмилетний, круглолицый, тащил по полу мешок с обувью и делал это с таким усердием, будто тащил пушку. Маленький Егор сидел на подоконнике, завернувшись в одеяло, которое предназначалось ему в дорогу, и сосал палец. Эмма сняла его с подоконника, и он сразу обхватил её шею руками, тёплый и тяжёлый, пахнувший молоком и сном.

— Мы поедem к папе? — спросил он.

— Мы поедem к Елене, — сказала Эмма.

Мать подняла голову от шитья, хотела что-то сказать и не сказала.

Вечером Эмма отпросилась «на минутку» к двум старым девам с первого этажа, к Вильгельмине и её сестре. Когда-то, три года назад, в самое тёмное время её детства, они подобрали её на лестнице, куда её спустил пинком дядя, вылечили ей лодыжку и откормили жжёным мин-

далём. Сад у них сейчас был голый, кусты сирени стояли, как связки прутьев. Вильгельмина открыла дверь, увидела её лицо и всё поняла.

— Na, Emmchen. Уезжаешь в Россию?

— В Петербург.

— В Петербург, — повторила старуха так, будто это было название болезни. — Там холодно и стреляют.

Ей дали кофе с молоком, в котором кофе было меньше, чем молока, и бумажный кулёк миндаля в дорогу. Вильгельмина, костлявая, высокая, с руками, похожими на корни, вдруг взяла Эмму за подбородок и долго смотрела ей в лицо.

— Ты не пропадёшь, — сказала она наконец. — Ты из тех, кто не пропадает. Только не давай им себя ломать. Ни отцу, ни дядьям, ни царям. Слышишь?

Эмма кивнула, хотя не очень понимала, при чём тут цари.

Ночью она не спала. Мать велела лечь в одежде, потому что выезжали до рассвета и потому что спать больше было не на чем: кровати тоже ушли. Эмма лежала на тюфяке у окна и смотрела на Прегель, чёрный, с жёлтыми пятнами фонарей. Где-то за ним, за Пруссией, за границей, о которой говорили шёпотом, потому что переходить её предстояло не по паспорту, а как-то иначе, лежал Петербург.

Она пыталась вообразить его и не могла. Вместо города получался тот плакат с чёрной каймой. Вместо улиц — слова: «нигилисты», «император», «истребить». И посреди этих слов, в самом центре, шла женщина в тёмном платье, с прямой спиной, и не оглядывалась.

«Я тоже не буду оглядываться», — подумала Эмма. Подумала очень серьёзно, как дают клятву, и тут же устыдилась: кто она такая, чтобы равняться на ту? Девочка с рынка. Подменьши с непослушными волосами.

Под утро мать тронула её за плечо. В кухне горела одна свеча. Герман хныкал, натягивая валенки. Мать стояла в пальто с зашитыми деньгами, прямая, чужая и красивая, и Эмма впервые подумала, что мать, наверное, тоже боится.

— Бери Егора, — сказала мать. — И не отставай.

Эмма взяла брата на руки, кулёк с миндалём сунула в карман, а в другой карман, тайком, тонкую книжку о королеве Луизе: она весила совсем мало, мать не заметит. Дверь закрылась. За ней осталось светлое пятно на обоях от проданного комода — дверь в комнату, которой никогда не было.

2. Ручей

Бабушка, мать матери, которую в семье называли просто «Бабушка», с большой буквы, как называют государство, держала в Кёнигсберге парикмахерскую. Парикмахерскую вели дочери. Сама же Бабушка занималась делом, о котором при детях говорили словом «коммерция», а без детей — словом «граница». Через неё, через эту невидимую линию между прусским порядком и русским беспорядком, Бабушка всю жизнь носила чай, кружева, табак, а когда требовалось — людей. Она и устроила им переход.

— Паспорт стоит денег и времени, — сказала Бабушка, провожая их на станции до Тильзита. — Денег у вас нет, а время у вас кончилось. Мой человек проведёт. Слушаться его, как Господа Бога. Даже больше: Бог простит, а солдат не простит.

От Тильзита ехали на санях, долго, полдня и ещё вечер, по равнине, белой и одинаковой, как скатерть, на которую забыли поставить еду. Возница, литовец в овчинном тулупе, за всю дорогу не сказал ни слова. Только однажды, когда Герман спросил, далеко ли Россия, он поднял кнут и показал вперёд, в серую мглу, где небо и снег сливались без шва, и засмеялся беззубым ртом, будто Россия была шуткой, которую понимают только взрослые.

Ночевали в избе у «человека». Человек оказался не страшным, как ждала Эмма, а маленьким, рыжим и суетливым, с бегающими глазами и мягкими, почти женскими руками. Он долго торговался с матерью шёпотом в сенях, и Эмма, притворяясь спящей на лавке, слышала, как мать распарывает подкладку пальто. Нитки трещали. Ей хотелось встать и сказать человеку, что это нечестно, что у них и так ничего нет. Но она лежала и смотрела в потолок, и в груди у неё было то самое чувство, которое потом, много лет спустя, она научится называть по имени: стыд за беспомощность взрослых.

— В пять, — сказал человек, входя в избу. — До рассвета. Солдаты меняются в шесть, тот, что стоит сейчас, свой. Но он свой за деньги, а деньги кончаются быстро. Если что — бегом. Детей не ронять. Не кричать. Что бы ни было — не кричать.

— Что может быть? — спросила мать.

Человек пожал плечами.

— Ручей. Он не замёрз. Зима плохая, тёплая. Вода по колено, может, выше. Холодная, как у чёрта в кармане.

Он посмотрел на Эмму, на её короткую шубку и ботинки на пуговицах, и покачал головой.

— Девочке трудно будет.

— Девочка донесёт, — сказала Эмма, садясь на лавке. Она не спала уже давно, и голос у неё был хриплый. — Девочка донесёт Егора. Мама понесёт узлы. Герман пойдёт сам. Да, Герман?

Герман, который сидел у печки и ковырял щепкой в щели, кивнул с таким видом, будто его спросили, пойдёт ли он на войну.

Человек усмехнулся и впервые посмотрел на неё по-настоящему.

— Ну-ну, — сказал он по-русски. — Боевая.

Слово было русское, и Эмма его поняла. Русский она знала с Попелян, от прислуги, от пастуха Петрушки, от крестьянок, которые полоскали бельё на реке и пели протяжно, будто плакали. Знала плохо, кусками, как знают сон. Но «боевая» поняла сразу, и ей стало тепло, хотя изба уже остывала.

Вышли в темноте. Снег был глубокий, мокрый, проваливался под ногами. Человек шёл первым и не оглядывался. За ним мать с двумя узлами, согнувшаяся, похожая на старуху. За ней Герман, который сразу потерял валенок, нашёл его, снова потерял и шёл дальше в одном, молча, со слезами на щеках, потому что ему велели не кричать. Последней Эмма с Егором.

Егор был тяжёлый. В избе, на руках, он казался ей невесомым, а здесь, в снегу, с каждым шагом прибавлял, будто кто-то незаметно подкладывал ему в одеяло камни. Он не спал. Он смотрел на неё из-под одеяла круглыми глазами и молчал, и это молчание было страшнее плача.

— Это игра, — прошептала Эмма. — Мы играем в разбойников. Кто первый крикнет, тот проиграл. Понял?

Егор кивнул.

Ручей открылся внезапно, за кустами ольхи: чёрная лента среди белого, неширокая, шагов в десять. По краям лёд, тонкий, как стекло, а посередине вода, живая, быстрая, и от неё шёл пар, как от дыхания. На том берегу, далеко, у одинокого огонька, темнела фигура в длинной шинели. Солдат. Он стоял спиной.

— Он нас видит? — спросила мать одними губами.

— Он видит то, за что заплачено, — сказал человек. — Быстро.

Он вошёл в воду первым, не задерживаясь, будто это была не вода, а пол. Мать — за ним, подняв узлы над головой. Эмма увидела, как вода дошла ей до колен, потом выше, как мать покачнулась и выпрямилась. Герман встал на краю и посмотрел на Эмму огромными глазами.

— Иди, — сказала она. — Держись за маму.

Герман пошёл.

А потом вошла и она.

Холод ударил не в ноги, а сразу в спину, в живот, в самую середину, будто кто-то вогнал в неё раскалённый прут. Вода была ледяная, но ощущалась как огонь. Эмма открыла рот, чтобы закричать, и закрыла его. Она подняла Егора выше, на плечо, к лицу, чтобы ни одна капля не попала на одеяло, и сделала шаг. Ботинок скользнул по камню. Она устояла.

«Не кричать».

Ещё шаг. Вода была уже выше колен, юбка намокла и тянула вниз, как чужие руки. Ног она не чувствовала. Она чувствовала только жжение в поясице и тепло Егора у щеки.

«Перовская не кричала».

Она подумала это и сама удивилась: при чём здесь Перовская? Но мысль держала её, как поручень. Женщина в тёмном платье шла впереди по воде, прямая, и не оглядывалась.

Ещё шаг. Ещё.

На середине Егор вдруг тихо сказал ей в ухо:

— Эмма. Я выиграл?

Она чуть не засмеялась. Чуть не заплакала. Ничего не сделала, только прижала его крепче.

— Ты выиграл, — прошептала она. — Ты самый лучший разбойник.

Последние шаги она не помнила. Помнила только, что вдруг под ногами оказался лёд, хрустнул, и мать схватила её за руку, дёрнула вверх, на берег, на снег, и Эмма упала на колени, не выпуская брата. Солдат на холме так и не обернулся. Только когда они уже бежали к темнеющей вдали корчме, ей показалось, что он поднял руку — то ли поправлял шапку, то ли махнул им.

Она так никогда и не узнала, что это было.

3. Корчма

Корчма стояла у самой дороги, низкая, с провалившейся соломенной крышей, и от неё пахло дымом, кислой капустой и счастьем. Счастьем пахло потому, что внутри было тепло. Эмма вошла и остановилась на пороге, потому что тепло ударило в лицо так же сильно, как холод в ручье, и на мгновение ей показалось, что она сейчас упадёт.

Её подхватили чьи-то руки. Большие, пахнущие тестом.

— Господи Иисусе, да она ж вся мокрая! Дитё! Мать, ты куда смотришь? Скидавай, скидавай с неё, а ну!

Хозяйка корчмы была русская, огромная, в красном платке, с лицом, похожим на каравай. Говорила она так быстро и так много, что Эмма не успевала понимать, но понимать было и не нужно. Её раздели, растёрли чем-то пахучим, водкой или скипидаром, завернули в колючее шерстяное, положили на печь, под перину, и в ноги сунули кирпичи, горячие, обёрнутые тряпкой. Мать сидела у стола, бледная, с мокрым подолом, и только кивала, не в силах говорить. Герман уже спал на лавке, так и не сняв единственного валенка. Егора хозяйка забрала себе, посадила на колени и кормила с ложки чем-то белым, и Егор, который весь переход промолчал, теперь смеялся.

— Чаю ей, — приказала хозяйка кому-то. — С малиной. Да побольше малины, не жалей.

Чай был такой горячий, что обжигал губы, и сладкий от малинового варенья. Эмма пила его маленькими глотками, держа кружку обеими руками, и чувствовала, как тепло спускается внутрь, туда, где всё ещё жгло ледяным прутком.

— Это русский чай? — спросила она, ни к кому не обращаясь.

Хозяйка услышала и захохотала.

— А какой же ещё? Немецкий, что ли? У немцев кофий, жидкий, как помои. А у нас чай. Пей, пей, барышня. Ишь, по-русски говорит. Ты чья будешь?

— Гольдман, — сказала Эмма.

Хозяйка на мгновение замолчала. Посмотрела на мать, на её тёмные волосы, на узлы. Что-то промелькнуло в её лице, быстро, как тень от облака, и Эмма это заметила: она всегда замечала такие вещи. Потом хозяйка махнула рукой.

— А хоть бы и Гольдман. Дитё оно и есть дитё. Спи давай.

Но спать не получалось. К вечеру начался жар.

Эмма помнила его потом урывками, как помнят плохо склеенную киноленту, хотя кино ещё не изобрели и слова этого она тогда не знала. Помнила, как мать прикладывала к её лбу мокрую тряпку и как тряпка сразу становилась горячей. Помнила, как хозяйка поила её чем-то горьким и приговаривала: «Ничего, ничего, выгорит». Помнила, как в углу под иконами горела лампадка и красный огонёк качался, хотя ветра не было.

А потом было много дней в вагоне. Мать потом говорила, что от корчмы их довезли до станции, что поезд шёл через Ковно, Вильну, Двинск, Псков, что ехали третьим классом, в духоте, среди мешков и солдат, и что Эмма всё время бредила. Эмма этого не помнила. Помнила только стук колёс, который складывался в слова.

Ни-ги-лис-ты. Ни-ги-лис-ты.

Помнила, как ей казалось, что она снова в ручье, что вода поднимается, а Егора нет на руках, и она ищет его в чёрной воде, а на берегу стоит солдат спиной, и это вовсе не солдат, а отец, и сейчас он обернётся.

Помнила, как вагон превращался в луг под Попелянами, и где-то далеко играла дудка пастуха Петрушки, тонко, переливчато. Петрушка давно исчез из её жизни, отец его прогнал, и она плакала тогда неделями. А теперь дудка играла снова, и от неё становилось легче, будто кто-то открывал окно в душевной комнате.

Помнила лица попутчиков, которые склонялись над ней и исчезали. Старый еврей в лапсердаке, который читал молитву над её головой, раскачиваясь. Русская баба с младенцем, которая сунула матери кусок сала и сказала: «Ей силы надо». Мать сало не взяла, а потом, когда баба отвернулась, взяла и спрятала. Молоденький солдат, совсем мальчик, с оттопыренными ушами, который долго смотрел на Эмму и наконец спросил мать: «Сестрица ваша?» И мать сказала: «Дочь», и солдат покраснел, будто сказал непристойность.

И ещё помнила разговор. Это было уже под самым Петербургом, жар спадал, и мир возвращался медленно, слоями, как проявляется негатив. Двое мужчин напротив, в хороших пальто, с газетой.

— А я вам говорю: всё от них. От жидов и студентов. Одно другого стоит. Государя погубили — теперь извольте.

— Позвольте, там была одна еврейка, Гельфман. Остальные чистокровные русские. Перовская — генеральская дочь, Желябов — из крепостных, Кибальчич — поповский сын.

— Вот я и говорю: всё от них. Заразили.

Эмма лежала с закрытыми глазами и слушала. Слова доходили до неё сквозь вату, но она запомнила их, каждое. Гельфман. Еврейка. Значит, там, среди тех, кто шёл с прямой спиной, была и еврейка.

Она открыла глаза. Мать сидела рядом, бледная, прямая, и смотрела в окно, и лицо у неё было такое, будто она ничего не слышала. Но рука её, лежавшая на коленях, была сжата в кулак так сильно, что побелели костяшки.

Эмма протянула руку и коснулась этого кулака. Мать вздрогнула, посмотрела на неё, и кулак разжался.

— Очнулась, — сказала мать, и голос у неё был странный. — Слава Богу. Очнулась.

4. Бакалея

Петербург встретил их Варшавским вокзалом, гулким, как пустая синагога, и отцом.

Отец стоял на перроне в пальто с барашковым воротником, которое Эмма не помнила, — значит, купил здесь, — и в котелке. Он был красив. Это первое, что она подумала, и подумала с досадой: она не хотела, чтобы он был красив. Высокий, широкоплечий, с тёмными усами и живыми, злыми глазами, Абрахам Гольдман умел нравиться чужим людям. Своим он умел только приказывать.

Но сейчас он не приказывал. Он обнял мать, неловко, на людях, и Эмма увидела, как мать на мгновение закрыла глаза. Потом отец взял на руки Егора, потрепал по голове Германа и наконец посмотрел на Эмму.

— Похудела, — сказал он. — Это хорошо. Меньше есть будешь.

Это была шутка. Отец иногда шутил так, что хотелось плакать. Эмма ничего не ответила. Она смотрела мимо него, на высокую девушку в тёмном пальто, которая стояла поодаль и улыбалась ей так, что всё остальное — вокзал, отец, жар, ручей — перестало иметь значение.

— Елена!

Она не помнила, как пробежала эти несколько шагов. Помнила только, что оказалась в объятиях, в запахе Елениного пальто, в котором смешались мороз, химикаты фотомастерской и что-то своё, родное, чего не было больше ни у кого на свете. Елена была на восемь лет старше, сестра лишь наполовину, по матери, но для Эммы — больше, чем мать, больше всех.

— Ты горячая, — сказала Елена, отстраняясь и трогая её лоб. — Ты больна.

— Я уже здорова.

— Врёшь.

— Вру, — согласилась Эмма и засмеялась, впервые за много дней.

Квартира оказалась не квартирой, а двумя комнатами на третьем этаже в доме на Песках, с окнами во двор, похожий на колодец. В одной комнате стояла кровать родителей и сундук, в другой — две узкие кровати для детей и стол, за которым Елена по вечерам ретушировала негативы при керосиновой лампе. Было чисто, бедно и тесно. Мать обошла обе комнаты, ничего не сказала и сняла пальто.

А вечером, когда дети легли, Эмма услышала через стенку разговор. Стены здесь были тонкие, как бумага, и не скрывали ничего.

— Как — нет места? — спросила мать. Голос у неё был ровный, очень тихий.

— Нет места, — сказал отец. — Кузен прогорел. Лавку закрыли месяц назад. Я не писал, чтобы ты не тревожилась.

— Чтобы я не тревожилась. Ты велел нам бросить всё. Продать всё. Перейти границу ночью, вброд, с детьми. Девочка чуть не умерла. Чтобы я не тревожилась.

— А что я должен был делать? Сказать вам оставаться в Кёнигсберге? На что? На Бабушкины кружева?

Пауза. Долгая. Эмма лежала, глядя в темноту, и слышала, как рядом сопит Герман и как Елена на соседней кровати не спит — по дыханию было слышно, что не спит.

— На что мы будем жить, Абрахам? — спросила наконец мать.

— Елена зарабатывает.

— Елена. Двадцатилетняя девушка будет кормить шестерых.

— Есть твои братья.

Ещё пауза. И тогда отец сказал то, отчего Эмма вцепилась пальцами в одеяло.

— Попроси у них. Ты умеешь просить. Ты у Трепова на коленях стояла — постоишь и у братьев.

Мать ничего не ответила. Только через минуту скрипнула кровать, и стало тихо.

Эмма повернулась к Елене. В темноте не было видно лица, но она знала, что сестра смотрит на неё.

— Он всегда так? — прошептала Эмма.

— Ему стыдно, — прошептала Елена. — Когда ему стыдно, он делает больно другим. Спи.

Мать попросила. Братья дали триста рублей — сумму, которая казалась Эмме огромной, а матери, как она понимала по её лицу, унижительной. На эти деньги на углу открыли бакалейную лавку: крупа, сахар, чай, мыло, керосин, селёдка в бочке, которая пахла так, что запах этот потом преследовал Эмму в снах. Отец стоял за прилавком в белом фартуке, и это было хуже, чем если бы он стоял на коленях. Он, управляющий, бывший хозяин постоянного двора в Попелянах, где сам исправник пил с ним чай, теперь отвешивал фунт пшена кухаркам и улыбался им своей красивой улыбкой.

Но страшнее всего был околоточный.

Он пришёл на третий день, плотный, с рыжими бакенбардами, в шинели, от которой пахло мокрой собакой. Прошёлся вдоль прилавка, взял из бочки селёдку, понюхал, положил обратно. Отец вышел к нему навстречу, и Эмма, сидевшая в углу за перегородкой, где ей велели перебирать изюм, увидела, как отец изменился. Плечи опустились. Голос стал другим — мягким, вкрадчивым, чужим.

— Ваше благородие... Чем могу служить?

— Бумаги, — сказал околоточный.

Отец принёс бумаги. Околоточный смотрел их долго, перелистывал, хмыкал.

— Право жительства, значит, — сказал он наконец. — По какому разряду?

— Купец... То есть — состою при торговом деле... Ваше благородие знает, кузен мой, Гольдман Лейб, купец второй гильдии...

— Прогоревший, — сказал околоточный.

— Временно, ваше благородие.

— Временно, — повторил околоточный и посмотрел на отца долгим, скучающим взглядом. — Тут, видишь ли, Гольдман, новые веяния. После известных событий. Государь император изволит интересоваться, кто и на каком основании проживает в столице. Особенно из ваших.

Отец молчал. Потом сунул руку в карман фартука и положил на прилавок что-то, накрыв ладонью. Околоточный, не глядя, накрыл его ладонь своей. Когда он убрал руку, на прилавке ничего не было.

— Бумаги в порядке, — сказал околоточный. — Пока. Зайду через месяц. Селёдка у тебя, Гольдман, ржавая.

Когда он ушёл, отец долго стоял у прилавка, не двигаясь. Потом заметил Эмму за перегородкой. Её глаза. Её синие, слишком внимательные глаза.

— Чего уставилась? — крикнул он. — Изюм перебирай! Работать надо, а не глазеть!

Он кричал на неё, а она смотрела на него и вдруг поняла то, чего не понимала раньше. Что этот красивый, злой, сильный человек, которого она боялась всю жизнь, боится сам. Боится рыжего околоточного с бакенбардами. И что это его кричащее «чего уставилась» — тот же страх, только повернутый к тому, кто слабее.

Ей стало жалко его. И от этой жалости она возненавидела околоточного так, как никогда никого не ненавидела.

5. Нева

Её не выпускали из дому три недели. Мать говорила, что у неё слабая грудь и что петербургский воздух убивает слабых. Отец говорил, что нечего шляться. Эмма лежала, читала свою

единственную книжку о королеве Луизе, пока не выучила её наизусть, и смотрела в окно, где виден был только двор-колодец, кусок жёлтой стены и квадрат неба, такого низкого и серого, будто его можно было потрогать с крыши.

На четвёртой неделе, в воскресенье, Елена сказала:

— Одевайся.

— Мама не пустит.

— Мама пустит. Я сказала маме, что ты мне нужна в мастерской. Одевайся, говорю, и быстро, пока отец не вернулся.

Эмма оделась так быстро, как никогда не одевалась. Шубка, ещё в разводах от ручья, платок, ботинки. Елена критически осмотрела её, сняла свой серый шарф и обмотала Эмме шею.

— Вот так. А то ты похожа на беглую сироту.

— Я и есть беглая.

— Ты — моя сестра, — сказала Елена. — А это совсем другое.

Они вышли на улицу, и Петербург обрушился на Эмму.

Он был огромный. Он был шумный. Он пах дымом, конским навозом, морозом и чем-то ещё, сырым и солёным, чему она не знала названия. По Невскому, куда они вышли через полчаса, катились сани, кареты, конки — вагоны на рельсах, которые тащили лошади, и наверху, на империале, сидели люди, как воробьи на ветке. Тротуары были полны: шинели, шубы, бобровые воротники, студенческие фуражки, бабы в платках с корзинами, офицеры, разносчики с лотками на головах, извозчики, кричавшие «Па-аберегись!» так, что звенело в ушах. Вывески — золотые, синие, красные, на русском, на французском, на немецком. Витрины, в которых лежали ткани такой красоты, что Эмма остановилась перед первой же и не могла сдвинуться с места: шёлк цвета морской волны, бархат цвета спелой вишни, кружево, похожее на иней.

— Идём, — тянула её Елена. — Ещё насмотришься.

— Не насмотрюсь, — сказала Эмма. — Никогда не насмотрюсь.

Елена засмеялась и потянула её дальше.

Мастерская оказалась ни при чём. Елена повела её через мост, по набережной канала, мимо домов, похожих на дворцы, и Эмма не спрашивала куда — она боялась, что если спросит, всё кончится. Наконец Елена остановилась.

На набережной Екатерининского канала, у решётки, стояла часовня. Маленькая, деревянная, временная, как всё временное в России, то есть такая, что простоит, может, сто лет. Перед ней — люди. Несколько старух в чёрном крестились и кланялись. Городовой стоял поодаль, скучая. И два жандарма в голубых мундирах, которые не скучали, а смотрели на каждого, кто подходил.

— Здесь, — тихо сказала Елена. — Здесь его убили. Первого марта.

Эмма смотрела. Обычная набережная. Канал, затянутый льдом. Решётка. Снег.

— Здесь? — переспросила она.

— Он ехал из манежа. Первая бомба разбила карету, а он вышел. Хотел посмотреть на раненых. Тогда второй бросил вторую. Прямо под ноги. Обоих. Того, кто бросил, и его.

— А Перовская?

— Перовская стояла там. — Елена кивнула в сторону, где канал поворачивал. — Она махнула платком. Это был знак.

Эмма посмотрела туда, куда показала сестра. Обычный угол. Снег. Фонарь.

Она представила себе женщину в тёмном платье, которая стоит на этом углу и поднимает руку с платком. Не оглядывается. Знает, что сейчас будет. Знает, что будет потом с ней самой.

— Откуда ты знаешь? — спросила Эмма шёпотом. — Про платок?

Елена помолчала.

— Все знают, — сказала она. — Только не говорят.

Один из жандармов посмотрел в их сторону, и Елена мягко повернула сестру за плечо.
— Пойдём. Я хотела тебе показать другое.

Они вышли к Неве.

И тут Эмма остановилась, и Елена не стала её торопить.

Нева была белая. Широкая, как поле, как степь, как вся та равнина, через которую они ехали от Тильзита, только эта равнина лежала посреди города, и город стоял по её берегам, будто боялся в неё войти. Лёд был местами гладкий, серо-голубой, местами вздыбленный торогами. Через реку тянулась тропинка, протоптанная пешеходами, и по ней шли крошечные фигурки — туда, на другой берег, где над низкими бастионами крепости поднимался золотой шпиль, тонкий, как игла, и такой высокий, что, казалось, прокалывал низкое небо.

— Петропавловская крепость, — сказала Елена. — Там был дядя Егор. Мамин брат. Перед тем как его отправили в Сибирь.

— Мама говорила, что он был мальчиком. Что он ни в чём не был виноват.

— Мама много чего говорит, — сказала Елена, и Эмма вздрогнула: так мать говорила об отце. — Он был студентом. И знал тех, кого нельзя было знать.

Ветер с реки был такой, что перехватывало дыхание. Он пах морем. Тем самым, солёным и сырым, чего Эмма не могла узнать на Невском. Где-то там, за крепостью, за островами, было море, и этот ветер шёл оттуда, и было в нём что-то, от чего хотелось бежать навстречу, раскинув руки, хотя она знала, что упадёт.

— Тебе нравится? — спросила Елена.

Эмма не ответила. Она смотрела на шпиль, на лёд, на фигурки, бредущие через реку, на дворец за спиной, огромный, красный, с бесконечными окнами, в котором — она знала — жил новый царь. Не жил: прятался, говорили, в Гатчине, а сюда только приезжал. Мать говорила, что царь — отец народа. А этот отец народа прятался. Как её собственный отец, который кричал на неё, потому что боялся околоточного.

— Елена, — сказала она вдруг. — А те, что были с Перовской. Они все умерли?

— Нет. Не все. — Сестра понизила голос, хотя рядом никого не было. — Есть те, кто остался. Они... есть.

— Ты их знаешь?

Елена посмотрела на неё долгим взглядом, тем самым, каким смотрела Вильгельмина в Кёнигсберге, будто что-то взвешивая.

— Ты маленькая ещё, — сказала она.

— Я перешла ручей, — ответила Эмма. — С Егором на руках. Я не маленькая.

И Елена вдруг улыбнулась — так, как улыбаются, когда что-то решили.

— Ладно, — сказала она. — Не сейчас. Потом. Есть один студент, ходит к нам в мастерскую заказывать карточки. Технолог. Северцев. Он книги даёт. Иногда. Тем, кто не болтает.

— Я не болтаю.

— Ты болтаешь больше всех на свете, — засмеялась Елена. — Но не о том, о чём нельзя. Я знаю.

На набережной зажигались фонари. Небо над Невой стало розово-серым, как изнанка раковины. Где-то на том берегу ударил колокол, потом другой. Эмма стояла, держась за гранитный парапет, холодный, как лёд в ручье, и чувствовала, как под её ладонями этот холод медленно становится её собственным.

Это был не тот город, который она представляла себе ночью в Кёнигсберге. Не плакат с чёрной каймой. Не слова. Это было живое — огромное, страшное, прекрасное, и оно дышало ей в лицо морским ветром, и в нём, где-то за этими окнами, за этой рекой, были люди, которые знали то, чего нельзя знать.

«Моя Нева», — подумала она. Подумала впервые, без всякого права на это. Девочка с рынка, подменыш, беглая.

Она ещё не знала, что через три года будет стоять на этой самой набережной и кричать отцу, что бросится в эту воду, если он её не отпустит. И что он отпустит. И что она уедет, и будет тосковать по этой реке всю жизнь — в Rochестере, в Нью-Йорке, в тюрьме, в Лондоне, в Сен-Тропе.

И что вернётся. Через тридцать пять лет. Когда город будет называться иначе, а дворец за её спиной будет стоять с выбитыми окнами, и на нём будет висеть красный флаг.

Она ничего этого не знала. Она просто стояла, держась за гранит, в шарфе сестры, и смотрела на шпиль, пока Елена не взяла её за руку.

— Домой, — сказала Елена. — Отец убьёт нас обеих.

— Пусть, — сказала Эмма, и они засмеялись и побежали по набережной, скользя на наледи, держась друг за друга, две сестры, мимо жандармов, мимо фонарей, мимо часовни на канале, где старухи всё ещё кланялись месту, на котором убили царя.



Глава 2. Шали и перчатки

1. Шали

Петля, накид, две вместе. Петля, накид, две вместе.

К февралю Эмма научилась вязать с закрытыми глазами, и это было хорошо, потому что глаза к ночи уже не открывались. Они слезились от керосинового чада, от серой шерсти, от того, что за окном, в колодце двора, свет кончался в четыре часа дня, а работа не кончалась никогда. Шаль — большая, квадратная, с кистями — требовала трёх вечеров и одной ночи. За шаль перекупщик Шапиро платил сорок копеек. Тридцать шалей — двенадцать рублей. Двенадцать рублей — это было больше, чем Эмма когда-либо держала в руках, но в руках она их не держала: деньги Шапиро отдавал матери, мать — отцу, а отец пересчитывал их у прилавка, слюнявя палец, дважды, будто надеясь, что во второй раз выйдет больше.

Петля, накид, две вместе.

Мать вязала рядом. Она вязала быстрее, ровнее и молча, и только изредка, не поднимая головы, говорила: «Туже. Ослабила». Или: «Сбилась. Распускай». Эмма распускала. Нитка шла из полотна с тихим треском, ряд за рядом, и вместе с ней уходил час, иногда два. В такие минуты ей хотелось швырнуть клубок в печку. Однажды она так и сказала. Мать подняла на неё глаза.

— Швырни, — сказала она спокойно. — Шерсть Шапиро. Он вычтет. Отец спросит, за что. Ты ему скажешь.

Эмма не швырнула.

В комнате было три звука: стук спиц, тиканье ходиков и скрип пера в соседней комнате, где Елена, сгорбившись над столом с наклонным стеклом, ретушировала негативы. Иногда к ним добавлялся четвёртый — отцовский храп, и тогда Герман, делавший уроки на краю стола, прыскал в кулак, а мать бросала на него взгляд, от которого смех застревал в горле.

Петля, накид, две вместе. Сорок копеек. Тридцать шалей.

Однажды ночью, когда мать уже легла, а Эмма доканчивала последний угол, ей пришла в голову мысль. Мысль была глупая, детская и потому неотвязная. Все шали были одинаковые — серые, в один и тот же ромбик, по одному образцу, который Шапиро выдал в первый день на бумажке, засаленной от сотен пальцев. Их носили бабы на Сенном рынке, кухарки, дворничихи. Тысячи одинаковых серых шалей по всему Петербургу. И никто никогда не узнает, что вот эту, именно эту, вязала она, Эмма Гольдман, двенадцати лет, в феврале, когда за окном был мороз и болели глаза.

Она подумала — и в углу шали, там, где кисти, где никто не будет смотреть, вывязала другим ходом крошечный цветок. Пять лепестков. Не больше ногтя. Его было почти не видно, только если повернуть шаль к свету.

Потом посмотрела на него и улыбнулась. Это было похоже на тайну. На подпись под письмом, которое никто не прочтёт.

Шапиро пришёл в пятницу. Маленький, сутулый, в котелке, со старческими пятнами на руках, он пах нафталином и рыбой. Он брал каждую шаль, разворачивал её на столе, проводил ладонью, пересчитывал ромбики, щупал кисти. Он делал это так же, как отец считал деньги, — с недоверием человека, которого всю жизнь обманывали и который поэтому обманывает сам.

На четырнадцатой шали он остановился. Повернул угол к окну. Поднёс к глазам.

— Это что? — спросил он.

Мать посмотрела. Эмма почувствовала, как у неё горят уши.

— Это я, — сказала она. — Это цветок. Его не видно.

— Его видно, — сказал Шапиро. — Мне видно. Значит, и покупательнице будет видно. Образец был какой? Ромбик. Где тут ромбик? — Он ткнул пальцем в цветок. — Это самовольство.

— Это пять лепестков, — сказала Эмма. — Он ничему не мешает.

— Он мешает мне, — сказал Шапиро. — Я плачу за ромбики. За цветки я не плачу. Брак. Он отложил шаль в сторону. Потом, подумав, достал из кошелька не сорок копеек, а тридцать.

— За шерсть, — пояснил он матери, не глядя на Эмму. — И за то, что переделывать. И ещё рубль удержу с месяца. В науку. Чтобы девочка знала.

— Это несправедливо! — сказала Эмма громко.

Шапиро наконец посмотрел на неё. Взгляд у него был не злой, скорее усталый, почти сочувственный.

— Деточка, — сказал он. — Несправедливо — это когда я плачу сорок копеек за то, что продаю за рубль двадцать. Это я знаю. А это, — он кивнул на шаль, — это просто порядок. Шаль — моя. Шерсть — моя. Образец — мой. Твои только руки. Руки — за сорок копеек. Цветок — это уже не руки. Цветок — это ты. А тебя я не покупал.

Он ушёл, забрав шали. Отложенную тоже забрал — переделывать.

Вечером отец, пересчитав деньги, обнаружил недостачу. Мать сказала, за что. Отец выслушал, не перебивая, и это было хуже, чем если бы он сразу закричал. Потом он подошёл к Эмме, взял её за подбородок, повернул лицо к лампе и долго смотрел.

— Рубль, — сказал он. — Рубль — это четыре фунта мяса. Это керосин на две недели. Это твоя обувь. Цветок. — Он отпустил её. — Без ужина.

Эмма легла без ужина. В темноте Елена тихо подошла и сунула ей под подушку кусок хлеба с маслом. Эмма его не съела. Она лежала, сжимая хлеб в руке, и думала про то, что сказал Шапиро. «Твои только руки. Цветок — это уже ты. А тебя я не покупал».

Это было страшнее всего, что он мог сказать. Потому что он был прав. И потому что, значит, всё остальное — ромбики, петли, сорок копеек, тридцать шалей, восемь часов ночью при керосинке — всё это было не она. Это было что-то, что у неё брали. А сама она, Эмма, была никому не нужна, кроме как в виде рук.

Она уснула под утро, так и не разжав пальцев. Хлеб утром был раздавлен в лепёшку, и она съела его тайком, пока все спали, и он был самым вкусным хлебом в её жизни.

2. Фабрика на Васильевском

В марте отец сказал, что шали — это баловство.

— Девушка здоровая, ей скоро тринадцать. Мой кузен Яков держит перчаточную на Васильевском. Шестьсот работниц. Там она и рубль будет помнить, и цветки свои забудет.

Мать возразила только одно: далеко. Отец ответил, что ноги у девушки есть. На этом разговор кончился.

Далеко было по-настоящему. От Песков до Васильевского острова — через весь город, через Неву. Эмма выходила в пять утра, в полной темноте, когда дворники только начинали скрести тротуары, а фонари уже гасли, потому что фонарщики экономили керосин. Первые дни её провожала Елена до Невского, потом Эмма шла одна. Невский в этот час был пуст и казался другим городом — серым, гулким, огромным. Витрины закрыты ставнями. Лишь у булочных уже горел свет и пахло горячим хлебом, и этот запах был такой, что приходилось ускорять шаг, чтобы не остановиться. Потом — к Неве, и через Неву.

Зимой через реку ходили по льду. Дорожку размечали воткнутыми ёлочками, и по этим ёлочкам в предрассветной темноте шли люди — сотни, тысячи, — мастеровые, торговки, фабричные девушки, — молча, плотной тёмной цепью, как паломники. Под ногами лёд гудел,

иногда трещал, и тогда все замирали на мгновение и шли дальше. Ветер с залива бил в лицо, и Эмма шла, наклонив голову, обмотав рот Елениным шарфом, и считала ёлочки. Сорок две. Ровно сорок две ёлочки от Адмиралтейства до Васильевского. Она ни разу не сбилась.

В апреле лёд пошёл, и пешеходная дорожка исчезла. Теперь приходилось делать крюк до Николаевского моста. Мост был чугунный, широкий, с фонарями на высоких столбах, и с него, если остановиться, было видно, как внизу ломается и плывёт в залив серо-белая масса, кряхтя, наползая льдина на льдину. Эмма останавливалась каждый раз. Каждый раз опаздывала. Каждый раз мастер вычитал пять копеек.

Фабрика стояла на одной из линий — так здесь называли улицы, будто остров был тетрадкой в линейку. Длинное трёхэтажное здание из красного кирпича, закопчённое, с узкими окнами, похожее на казарму. Над воротами — вывеска с немецкой фамилией и нарисованной перчаткой, растопыренной, будто махавшей кому-то. Ворота открывались в половине седьмого. Перед ними уже стояла толпа: шестьсот женщин и девушек в платках, с узелками, сонных, переминающихся с ноги на ногу. Пахло овчиной, махоркой и мокрой шерстью. Когда ворота открывались, толпа втекала в них, как вода в шлюз.

Внутри был другой запах — кожи. Тонкой лайковой кожи, которую привозили из-за границы, вымоченной, выделанной, натянутой на деревянные формы. Запах был острый, кислотный, с примесью клея и машинного масла, и первые дни у Эммы от него болела голова. Потом она привыкла. Потом она перестала его замечать. Потом, много лет спустя, в Нью-Йорке, проходя мимо галантерейной лавки, она вдруг почувствовала его — и остановилась посреди тротуара, потому что на мгновение оказалась снова там, в цеху на Васильевском, в тринадцать лет, и ей захотелось плакать неизвестно от чего.

Цех был длинный, как вокзал. Под потолком висели масляные лампы, которые зажигали утром и вечером, а днём свет шёл из окон, мутный, серый, будто процеженный сквозь марлю. Вдоль стен — столы. За столами — девушки. Одни кроили, другие сшивали, третьи выворачивали, четвёртые прошивали тонкие строчки на тыльной стороне — три строчки, которые называли «стрелками» и которые отличали хорошую перчатку от дешёвой. Эмму посадили на выворачивание. Это была самая простая работа и самая скучная. Сшитая перчатка приходила изнанкой наружу, и её надо было вывернуть деревянной палочкой, палец за пальцем, не порвав тонкую кожу. Пять пальцев. Сто перчаток в день. Пятьсот пальцев.

Мастер был немец, герр Бауэр, высокий, сухой, с седыми бакенбардами, в чёрном сюртуке, который он не снимал даже летом. Он ходил между столами медленно, заложив руки за спину, и молчал. Он никогда не кричал. Он никогда не бил — Эмма потом узнала, что на других фабриках били, и тогда поняла, что ей повезло. Он только останавливался за спиной у той, кто работала плохо, и стоял. Стоял минуту, две. Потом шёл дальше. И девушка, за чьей спиной он постоял, весь день работала так, что пальцы у неё немели.

Была у герра Бауэра одна странность, о которой Эмме рассказали в первый же день. Он разрешал петь.

— Поющие руки работают быстрее, — объяснил он однажды, когда хозяин, кузен Яков, приехал с проверкой и удивился шуму. — Это проверено. В Саксонии на фабриках всегда поют.

Хозяин пожал плечами. Девушки пели.

В первый день Эмма не знала, куда деться. Она сидела за столом, самая маленькая, в платке, который был ей велик, и выворачивала перчатки, а вокруг неё — справа, слева, напротив — сидели девушки и женщины, русские, финки, эстонки, две польки и одна еврейка постарше, которая сразу спросила её на идише, чья она, и, услышав фамилию, кивнула и больше не разговаривала. Остальные разговаривали много. Громко, со смехом, с какими-то словами, которых Эмма не знала и которые, судя по смеху, были неприличные. Над ней подшучивали.

— Гляди, какая беленькая! Немочка, что ль?

— Жидовочка, сказали.

— Да ну! С такими волосами? Это ей подменили, видать, в люльке.

Эмма вспыхнула. Это было слово в слово то, что говорил отец.

— Меня подменила свиная торговка на рынке, — сказала она громко, по-русски, медленно подбирая слова. — Мои настоящие родители — разбойники. Скоро они за мной придут.

Секунду было тихо. А потом стол взорвался хохотом. Смеялись все — и русские, и финки, и даже пожилая еврейка. Девушка напротив, рыжая, широколицая, с ямочками на щеках, хохотала громче всех, утирая слёзы концом платка.

— Ой, не могу! Разбойники! — Она хлопнула ладонью по столу. — Ну, девка! Ну, бой-девка! Как тебя звать-то, разбойничья дочь?

— Эмма.

— Эмма. — Рыжая попробовала имя на вкус. — Будешь у нас Эммочка. А я Глаша. Будем знакомы.

3. Глаша

Глафире Савельевой было семнадцать лет, и она была из Тверской губернии, из деревни с удивительным названием Красная Горка, где, по её словам, не было ни горки, ни ничего красного, а была одна грязь да церковь. Отец её был извозчиком в Петербурге, мать умерла, младшие братья остались в деревне у тётки. Глаша жила с отцом в углу у какой-то вдовы на Петербургской стороне, спала за занавеской на сундуке и каждое утро ходила на фабрику пешком через весь остров.

Она была неграмотная. Совсем — не могла прочесть ни вывески, ни даже своего имени. Зато она знала, кажется, все песни на свете.

Она начинала петь первой, когда герр Бауэр уходил в контору, и песня подхватывалась сначала за ближними столами, потом за дальними, и через минуту пел весь цех. Пели протяжное — про ямщика, про степь, про то, как «не одна во поле дороженька пролегала». Эмма не понимала половины слов, но мелодия входила в неё, как вода в сухую землю. Это было похоже на то, как пели крестьянки в Попелянах, полоская бельё в реке, — тот же плач без слёз, та же тоска, которая почему-то не давила, а поднимала. Шестьсот голосов, низких, высоких, хриплых, звонких, — и под ними стук ножниц, шорох кожи, скрип деревянных форм. Эмма выворачивала перчатки под эту песню, и пальцы двигались сами, и время шло быстрее.

А потом, когда протяжное надоедало, Глаша вдруг заводила что-нибудь озорное, частушку, и цех взрывался смехом, и пожилая еврейка, которую звали Двойра, качала головой и говорила по-русски: «Бесстыдницы». Но тоже улыбалась.

— Пой, Эммочка! — кричала Глаша через стол. — Чего молчишь, как рыба?

— Я не знаю слов.

— Так учи! Повторяй за мной!

И Эмма училась. Через неделю она знала «Ноченьку», через две — «Лучинушку», через месяц пела вместе со всеми, и её высокий, чуть резкий голос выделялся в общем хоре, так что Глаша однажды сказала одобрительно: «А голосок-то у тебя — во! Как колокольчик. Только громкий больно. На тебя мужики оглядываться будут, когда запоёшь». И засмеялась. Эмма не поняла, что тут смешного, и тоже засмеялась.

Обедали прямо в цеху, на коленях. Глаша доставала из узелка краюху чёрного хлеба, луковицу и щепотку соли в тряпочке и делилась с Эммой, хотя у Эммы был свой хлеб, белый, и селёдка из отцовской бочки. Они менялись. Эмма полюбила чёрный хлеб с луком так, что дома над ней смеялись.

Однажды, в обед, она спросила Глашу:

— А ты видела? Тогда. Первого марта.

Глаша жевала луковицу и не сразу поняла.

— Чего видела?

— Как царя убили.

— А-а. — Глаша нахмурилась и отложила луковицу. — Не, не видела. Я на фабрике была. А отец слышал. Говорит, грохнуло так, что лошади на Конюшенной понесли. Он аж с козел свалился.

Она помолчала. Потом понизила голос, хотя никто не слушал.

— У нас в деревне, знаешь, что говорят? Что его баре убили.

— Баре? — не поняла Эмма.

— Ну, господа. Помещики. За то, что волю нам дал. Он, батюшка, мужикам землю хотел отдать, всю, по-божески. А господа не хотели. Вот и подослали своих детей, студентов этих, чтоб убили. Чтоб, значит, землю не отдал. — Глаша перекрестилась. — У нас все так говорят. И отец говорит. Он извозчик, он много людей возит, все знает.

Эмма смотрела на неё и не знала, что сказать.

— Но это неправда, — сказала она наконец. — Они же за народ. Они хотели, чтобы народу было лучше. Я слышала, в поезде. Там был один — из крепостных. Желябов. Он сам был крестьянин.

— Из крепостных, — повторила Глаша недоверчиво. — А Перовская? Отец говорит, генеральская дочка была. Генеральская! Это ж барыня. Самая что ни на есть.

— Но она же... Она ушла от отца. Она жила бедно, как мы. Она...

— Барыня, — убеждённо сказала Глаша. — Хоть ты её в лапти обуи. Кровь-то не переделаешь. Баре царя убили, и теперь нам опять — ни земли, ни воли. Вот так-то, Эммочка.

Она снова взяла луковицу и с хрустом откусила.

Эмма сидела, держа в руке недоеденный хлеб, и в голове у неё было пусто и звонко, как в пустой комнате. Она так долго думала о той женщине в тёмном платье, о платке, поднятом над каналом, — и ни разу, ни разу ей не пришло в голову, что для Глаши, для её отца-извозчика, для всей Красной Горки, ради которой, может быть, та женщина и поднимала свой платок, — она была просто барыней. Чужой. Убийцей.

Как же так? Если они это сделали для народа, а народ думает, что это сделали против него, — то для кого же они это сделали?

Она ничего не сказала. Вечером, на обратном пути, она шла по Николаевскому мосту и думала об этом, и чем больше думала, тем меньше понимала.

А через неделю Глаша вдруг попросила её, смущаясь, краснея до корней рыжих волос:

— Эммочка. Ты ведь грамотная?

— Да.

— А... научи меня. Буквам. Хоть немножко. Хоть имя своё писать. А то стыдно: отцу письмо из деревни приходит, а мы оба, как пни, к дядьку бегаем, за пятак.

Эмма посмотрела на неё — большую, сильную, на четыре года старше, с ямочками на щеках, которая знала все песни на свете и не знала ни одной буквы.

— Научу, — сказала она.

С тех пор они занимались в обед. Эмма писала буквы углём на изнанке бракованных перчаток, а Глаша, высунув язык от усердия, повторяла их своими большими, неловкими пальцами. Через месяц она вывела, медленно, кривыми палочками: ГЛАФИРА. И долго смотрела на это слово, не веря.

— Это я? — спросила она шёпотом.

— Это ты, — сказала Эмма.

Глаша вдруг всхлипнула, сгребла её в охапку, прижала к себе так, что у Эммы хрустнули рёбра, и расцеловала в обе щеки, громко, по-деревенски.

— Ну, разбойничья дочь, — сказала она сквозь слёзы. — Ну, спасибо тебе. Век не забуду. И Эмма, задыхаясь в её объятиях, пахнувших луком и кожей, вдруг поняла то, чего не могла бы объяснить словами. Что это — ГЛАФИРА, пять кривых палочек на изнанке перчатки — и есть тот самый цветок в углу шали. То, что не руки. То, что — она сама.

4. Геся

Слух пришёл на фабрику в конце марта, как приходят все слухи в рабочих местах, — неизвестно откуда, будто его принёс ветер с залива. Сначала шептались у польских столов, потом у русских, потом Двойра, пожилая еврейка, которая за полтора месяца не сказала Эмме и десяти слов, вдруг подошла к ней в обед, села рядом на скамью и сказала на идише, глядя прямо перед собой:

— Ты слышала про Гельфман?

— Нет, — сказала Эмма. — То есть да. Она была с ними. С Перовской.

— Её не повесили, — сказала Двойра. — Ты знаешь почему?

Эмма покачала головой.

— Она была беременна. Ребёнком. Нельзя вешать женщину с ребёнком — даже они понимают. Ей заменили на каторгу. Вечную. — Двойра помолчала. — Она родила в тюрьме. Осенью. Девочку.

— И что? — спросила Эмма, хотя уже знала по лицу Двойры, что ничего хорошего.

— Роды были плохие. Она так и не встала. Всю зиму лежала. А в январе ребёнка у неё забрали. В воспитательный дом. И через несколько дней она умерла. Говорят, ей не давали доктора. Говорят, она лежала одна в камере и звала. — Двойра встала. — Вот и всё. Еврейка. Двадцать шесть лет. Вот и всё.

Она ушла к своему столу, не оглядываясь, и до конца дня не сказала больше ни слова. А Эмма сидела на скамье, и вокруг неё снова начинали петь, — Глаша завела что-то протяжное, — и пение казалось ей невыносимым. Как могут они петь? Как может кто-нибудь вообще петь сегодня?

Вечером, за ужином, она не выдержала.

— Мама. Ты слышала про Гесю Гельфман?

Мать подняла голову от тарелки. Отец перестал жевать. Елена замерла с ложкой в руке.

— Откуда ты знаешь это имя? — спросил отец.

— На фабрике говорят. Она умерла. В тюрьме. После родов. А ребёнка забрали.

Мать медленно положила ложку.

— Бог наказал, — сказала она. Голос у неё был ровный, но Эмма видела, как дрогнули губы. — Она связалась с убийцами. Она погубила царя, который был добр к нам. Из-за неё и таких, как она, теперь всем нам... — Она не договорила.

— Но ребёнок, мама! Ребёнок-то не связывался! Его за что?

— Замолчи, — сказал отец.

Эмма замолчала. Но не потому, что отец велел. Она смотрела на Елену. Елена сидела очень прямо, бледная, глядя в тарелку, и вдруг встала, отодвинула стул — громко, со скрежетом — и вышла из комнаты. Хлопнула дверь.

— Это что ещё такое? — сказал отец.

Мать ничего не ответила. Она снова взяла ложку, но есть не стала.

Ночью Эмма лежала без сна и слышала, как Елена тоже не спит на соседней кровати. Наконец она прошептала:

— Елена. Ты знала?

Долгая тишина. Потом шорох одеяла, и Елена села на край её кровати. В темноте Эмма видела только её силуэт.

— Знала, — шёпотом сказала Елена. — С февраля. Все знают. Только не говорят.

— Расскажи.

— Ты не уснёшь потом.

— Я и так не усну.

Елена долго молчала. Потом заговорила, так тихо, что Эмме пришлось приподняться на локте.

— Её держали в Доме предварительного заключения. Рожала она там же, в камере, и при ней не было никого, кроме надзирательницы. Роды были тяжёлые, началось воспаление, и она просила доктора, а доктора звали, когда уже было поздно. Она кормила девочку сама. Всю зиму. Больная, не вставая. Говорят, это было единственное, о чём она просила, — чтобы ей оставили ребёнка. А в январе пришли и забрали. Сказали — в воспитательный дом, без имени. А через несколько дней она умерла.

Тишина.

— Откуда ты знаешь такие подробности? — прошептала Эмма.

— От людей, — сказала Елена. — От разных людей. Есть люди, которые знают. И которые пишут об этом. За границу. Чтобы там напечатали, раз здесь нельзя.

— Северцев, — сказала Эмма. Это было не вопросом.

Елена резко повернулась к ней.

— Никогда, — прошептала она так горячо, что у Эммы мурашки пошли по коже. — Слышишь, никогда не произноси этого имени при отце. При матери. Ни при ком. Обещай.

— Обещаю.

Елена помолчала. Потом погладила её по голове, по спутанным волосам, — так, как гладила, когда Эмма была маленькой.

— Мама сказала «Бог наказал», — прошептала она. — А я думаю: если это Бог, то я не хочу такого Бога. Если Бог отнимает ребёнка у матери, которая просит только покормить его ещё один день, — то зачем он нужен?

Эмма замерла. Елена никогда так не говорила. Елена, тихая, добрая Елена, которая всегда заступалась за неё перед отцом, которая молилась по пятницам вместе с матерью...

— А что, если... — начала Эмма и остановилась.

— Что?

— Что, если Бога нет?

Елена долго не отвечала. Потом вздохнула.

— Спи, — сказала она. — Утром на фабрику.

Она вернулась на свою кровать. Эмма лежала, глядя в темноту, и думала о девочке без имени, которую отнесли в воспитательный дом. Где она сейчас? Жива ли? Кто её кормит? Знает ли она — узнает ли когда-нибудь, — чья она дочь?

А в начале мая отец пришёл из лавки с газетой и бросил её на стол.

— Вот, — сказал он. — Полюбуйтесь.

Мать взяла газету. Эмма заглянула через плечо. «Временные правила», — прочла она заголовок. — «Высочайше утверждённые... о евреях...»

— Что это? — спросила она.

— Это значит, — сказал отец, садясь и тяжело опуская руки на стол, — что евреям теперь запрещено селиться вне городов и местечек. Что их будут выселять из деревень. Что нельзя покупать землю, нельзя арендовать, нельзя торговать по воскресеньям. Временные. — Он засмеялся невесело. — Ничего нет более постоянного, чем временное в этой стране.

— Но мы же в городе, — сказала мать.

— Пока. Пока в городе. А потом скажут — и в городах нельзя. В столице нельзя. Подумаешь, Гольдман прогоревший, у него разряд не тот. Взять — и выслать. — Отец посмотрел

в окно, на двор-колодец, и лицо у него было такое, какого Эмма никогда не видела, — растерянное, почти детское. — За что? За что, я вас спрашиваю? Мы что, царя убили?

Никто не ответил. Только Эмма подумала, но вслух не сказала: «Нет. Это сделала Гesia Гельфман. Двадцать шесть лет. И её девочка без имени теперь платит. И мы платим. Все платим». И ей вдруг стало так страшно и так горько, что захотелось плакать — не о себе, не о семье, а о всех сразу, о всех, кто платит за то, чего не делал.

— Лена пишет, — сказал вдруг отец, не оборачиваясь от окна. Лена была старшая сестра, уже уехавшая в Америку. — Пишет из Рочестера. Говорит, там евреи живут где хотят. Где хотят — понимаешь, Таубе? Покупают дома. Открывают лавки. Никаких разрядов, никаких околоточных.

Мать молчала.

— Туда бы, — сказал отец тихо. — Туда бы.

Это было в первый раз, когда Эмма услышала, как в их доме произносят слово «Америка» не как название далёкой страны, а как имя спасения. Она сидела, глядя на отцовскую спину, и это слово падало в неё, как камень в колодец, — глубоко, глубоко, туда, где ещё не было дна.

5. Северцев

Белые ночи начались в конце мая, и Эмма не могла к ним привыкнуть.

Она возвращалась с фабрики в восьмом часу вечера, и было светло, как днём. Она ужинала, мыла посуду, укладывала Егора — светло. В одиннадцать, когда родители ложились, за окном всё ещё был день, только какой-то другой — бледный, жемчужный, без солнца, будто небо забыло, что пора темнеть, и теперь стояло в нерешительности. В полночь двор-колодец был залит молочным светом, и Эмма сидела у окна в ночной рубашке, обхватив колени, и смотрела вверх, на клочок неба над крышами, который не становился тёмным. Она почти перестала спать. Мать ругалась. Отец грозился заколотить окно досками.

Пятнадцатого июня — по-здешнему, по старому стилю, — ей исполнилось тринадцать.

Дома дня рождения не праздновали. У евреев в их кругу это было не принято, да и не до того. Мать, правда, утром поцеловала её в лоб и сказала: «Будь здорова, дочка», а Егор подарил свой рисунок — лошадь, похожую на собаку, — и Герман, после долгих колебаний, отдал ей самый красивый из своих трёх стеклянных шариков. Отец ничего не сказал. Вечером он ушёл в лавку пересчитывать товар.

А Елена, когда Эмма вернулась с фабрики, сказала:

— Идём со мной.

— Куда?

— В мастерскую. Мне надо сдать работу. А ты поможешь донести.

Нести было нечего — Елена взяла с собой маленький пакет, обёрнутый в бумагу. Эмма поняла, что дело не в работе, но не стала спрашивать.

Фотомастерская помещалась на Гороховой, во втором этаже, над шляпным магазином. Над дверью висела вывеска: «Фотографическое ателье Р. Клейнмихель. Портреты, группы, визитные карточки». Внутри пахло химикатами, сладковато и резко, и этот запах был запахом Елены — тот самый, который Эмма узнала на вокзале. Приёмная с бархатным диваном, пальмой в кадке и зеркалом в золочёной раме. За ней — ателье с огромным окном в потолок, через которое падал белый ночной свет. Фотографический аппарат на треноге, похожий на большого деревянного зверя с медным глазом. Задник с нарисованной балюстрадой и вазами, перед которым снимались купцы с жёнами и офицеры с саблями. И в углу, за занавеской, — маленькая комнатка, где Елена работала, когда брала заказы на дом.

Хозяина не было. Был только молодой человек, сидевший на бархатном диване в приёмной и читавший газету. Когда они вошли, он поднялся.

Он был высокий, очень высокий, — Эмме пришлось задрать голову, — худой, в потёртой студенческой тужурке с потускневшими пуговицами. Лицо узкое, бледное, с впалыми щеками, будто он долго не ел или долго не спал. Тёмные волосы, давно не стриженные, падали на лоб. Рот был насмешливый — даже когда он не улыбался, в уголках губ сидела какая-то ирония, будто он знал анекдот, который не стоит рассказывать. А глаза — серые, усталые, гораздо старше лица. Ему было, наверное, лет двадцать пять, но глаза были как у Шапира. Как у человека, которого много раз обманывали.

— Елена Абрамовна, — сказал он и поклонился, чуть насмешливо, по-старомодному. — А это, позвольте угадать, та самая сестра, которая перешла границу с братом на руках?

Эмма вспыхнула. Она посмотрела на Елену. Елена пожала плечами.

— Андрей Петрович Северцев, — сказала она. — Студент Технологического института. Заказывает у нас карточки. Эмма, моя сестра.

— Очень приятно, — сказал Северцев и протянул Эмме руку, как взрослой.

Эмма пожала её. Рука была холодная, сухая и вся в пятнах — жёлтых, бурых, как от химии.

— Вы тоже фотограф? — спросила она.

— Я химик, — сказал он. — Почти. Если меня не выгонят до выпуска. Что весьма вероятно. — Он улыбнулся одним углом рта. — Пятна — это от лаборатории. Нас учат делать краски для ситца. Очень полезное дело. Скоро вся Россия будет ходить в ситце моей окраски. Красном, разумеется.

Елена кашлянула. Северцев засмеялся.

— Простите. Я шучу. У меня дурная привычка шутить. Елена Абрамовна говорит, это нервное. — Он взглянул на пакет в её руках. — Готово?

— Готово.

Она протянула ему пакет. Он не стал его разворачивать, просто убрал во внутренний карман тужурки — быстро, ловким, привычным движением. Эмма видела, как изменилось его лицо: всего на мгновение ирония исчезла, и осталось что-то серьёзное и очень усталое.

— Спасибо, — сказал он тихо. — Это для товарищей. Тех, кто... — Он запнулся. — Тех, кто хочет помнить лица.

Эмма поняла. Не сразу, а через секунду. Карточки. Портреты. Елена ретушировала портреты. Чьи? Тех, кого повесили? Тех, о ком «все знают, но не говорят»? Она посмотрела на сестру, и Елена ответила ей коротким, жёстким взглядом: молчи.

— Садитесь, — сказал Северцев, указывая на диван. — Хозяин придёт через час. Я его жду, мне ещё надо заказать групповой портрет нашего курса. Для отвода глаз, — добавил он шёпотом и подмигнул Эмме.

Они сели. Северцев снова взял газету, посмотрел на неё и отбросил.

— Читали? — спросил он Елену. — Опять о «временных правилах». Граф Игнатъев изволит разъяснять, что меры эти направлены исключительно на защиту коренного населения от эксплуатации. — Он скривился. — Коренное население, оно, видите ли, страдает от евреев. Не от помещиков, не от кулаков, не от исправников — от евреев. Очень удобно. Очень. Мужик бьёт жида, жид бежит в Америку, барин спокоен. Все при деле.

— Андрей Петрович, — сказала Елена, кивнув на Эмму.

— А что? Она же не ребёнок. Она перешла границу вброд. — Он посмотрел на Эмму. — Вы ведь не ребёнок?

— Нет, — сказала Эмма. — Мне сегодня тринадцать.

— О! — Северцев вскочил и снова поклонился, на этот раз совсем серьёзно. — Поздравляю. От всей души. Тринадцать — это возраст. В тринадцать еврейский мальчик становится взрослым, у вас ведь так? Бар-мицва. Ну, значит, и девочка тоже. По справедливости.

— У нас девочкам не положено, — сказала Эмма.

— Тем хуже для «у нас», — сказал Северцев. — Справедливость не зависит от пола. Это я вам как химик говорю. Атомы не делятся на мужские и женские.

Елена засмеялась. Эмма тоже засмеялась, хотя не совсем поняла про атомы.

Северцев снова сел, закинул ногу на ногу, и вдруг лицо его опять изменилось — стало задумчивым, далёким.

— Знаете, Елена Абрамовна, — сказал он, глядя в окно, где стоял белый, бессонный свет. — Я сегодня шёл через Екатерининский канал. Мимо часовни. И подумал: вот мы это сделали. Год прошёл. Мы убили царя. И что получили? — Он загнул палец. — Нового царя, который хуже. Победоносцева. — Загнул второй. — Игнатьева с его правилами. Погромы на юге. — Третий, четвёртый. — Половина наших — в петле или на каторге. Остальные — за границей. Здесь — горстка. Мы думали: ударим в самое сердце, и всё рухнет. Народ поднимется. А народ...

Он замолчал.

— А народ? — тихо спросила Елена.

— А народ молчит, — сказал Северцев. — Молчит и крестится. Мы для него — никто. Мы думали, мы — его голос. А мы — никто.

И тут Эмма, сама не зная, как это вышло, сказала:

— А у нас на фабрике одна девушка говорит, что царя убили баре. За то, что он мужикам волю дал. И что студенты — это барские дети. Так у них в деревне все говорят.

Северцев медленно повернулся к ней.

Улыбки на его лице не было. Ни в углах губ, ни в глазах. Он смотрел на Эмму долго, так долго, что ей стало не по себе, — серыми, усталыми, внимательными глазами, — и она уже пожалела, что открыла рот.

— Что она говорит? — переспросил он очень тихо. — Повторите.

— Что царя убили баре, — повторила Эмма, запинаясь. — Чтобы землю не отдал. Подослали своих детей. Студентов. Перовская — генеральская дочка, значит, барыня. А царь хотел землю мужикам отдать всю. По-божески.

Северцев долго молчал. Потом откинулся на спинку дивана и закрыл глаза рукой.

— Вот, — сказал он наконец, не открывая глаз. — Вот в этом вся наша беда, Елена Абрамовна. Вся. Десять лет мы ходили в народ. Учили, лечили, жили в избах, пахали с мужиками. Нас сдавали урядникам — те же мужики. Сдавали. Потом мы решили: раз они не слышат слова, услышат бомбу. И вот они услышали. И поняли — что баре убили доброго царя. — Он засмеялся, коротко и страшно. — Она права, ваша фабричная девушка. Права. Мы для них — барские дети. Мы и есть барские дети. Я — сын тверского помещика, между прочим. Из той же губернии, что и она, может быть.

— Из Тверской, — сказала Эмма. — Она из Тверской губернии. Красная Горка.

Северцев убрал руку с глаз и посмотрел на неё с каким-то странным выражением.

— Красная Горка, — повторил он. — Это в двадцати верстах от нашего имения. Её отец, наверное, пахал землю моего деда. — Он помолчал. — Как её зовут?

— Глаша. Глафира Савельева. Я её учу буквам.

— Учите буквам, — сказал Северцев медленно. — Вот. Вот этим и надо было заниматься. Буквами. А не бомбами. — И, помолчав, добавил так тихо, что Эмма едва расслышала: — Или и тем, и другим. Не знаю. Ничего я больше не знаю.

В прихожей звякнул колокольчик. Пришёл хозяин, господин Клейнмихель, толстый, лысый, с моноклем, и Северцев сразу стал другим — весёлым, болтливым, говорил о группо-

вом портрете, о курсе, о том, как они хотят сняться все вместе перед выпуском. Елена отдала хозяину какую-то работу, получила деньги, и они попрощались.

Уже на лестнице Северцев догнал их.

— Елена Абрамовна. Чуть не забыл. — Он достал из кармана тужурки небольшую книжку в потёртом переплёте и протянул не Елене, а Эмме. — Это вам. От вашей сестры, разумеется. Она меня просила достать. На день рождения.

Эмма взяла книгу. На корешке, едва различимом: «И. С. Тургенев. Отцы и дети».

— Она не запрещённая, — сказал Северцев, улыбаясь углом рта. — Пока. Но в ней есть одно слово, которое у нас нынче лучше не произносить вслух. Прочтите — и сами узнаете какое. Это урок первый.

— А урок второй? — спросила Эмма, прежде чем успела подумать.

Северцев посмотрел на Елену. Елена посмотрела на него.

— Урок второй — потом, — сказал он. — Когда прочтёте первый. С днём рождения, Эмма Абрамовна. Тринадцать — хороший возраст. Прекрасный. В тринадцать ещё веришь, что всё можно исправить.

Он поклонился и ушёл вниз, перескакивая через ступеньки, длинный, нескладный, в своей потёртой тужурке, и через секунду хлопнула дверь подъезда.

Они вышли на улицу. Было около полуночи, и было светло. Гороховая была пуста. Над крышами стояло бледно-зелёное, перламутровое небо, и где-то далеко, на Неве, гудел пароход.

Они пошли домой пешком, через Адмиралтейство, по набережной. Нева лежала под этим небом гладкая, светлая, как расплавленное серебро, и в ней отражались и дворец, и крепость со шпилем, и мосты, и всё было перевёрнутым и неподвижным, будто под водой был ещё один город, точно такой же, только тише. По набережной бродили парочки. Где-то пели под гитару. Пахло сиренью, речной водой и угольным дымом с пароходов.

Эмма шла, прижимая к груди книгу.

— Елена, — сказала она. — Это ты просила его достать?

Елена улыбнулась.

— Я сказала, что у тебя день рождения. И что ты прочла всё, что есть в доме, и теперь читаешь газету, в которую селёдку заворачивают. Остальное он придумал сам.

— Он хороший, — сказала Эмма.

— Он несчастный, — сказала Елена. — Это не одно и то же. Хотя иногда очень похоже.

Они помолчали.

— Елена, а что за карточки ты для него...

— Эмма.

— Я никому не скажу.

— Я знаю. Поэтому и не говорю. Чтобы тебе нечего было не говорить.

Эмма вздохнула и не стала спрашивать дальше.

Они дошли до Невского. Невский был пуст и светел, витрины спали за ставнями, и какой-то извозчик дремал на козлах, свесив голову, а его лошадь стояла, понурившись, и тоже, кажется, спала. Эмма подумала: «А вдруг это отец Глаши?» — и ей стало смешно и грустно одновременно.

Она посмотрела вверх. Небо над Невским было зелёным, светлым, совсем дневным, и только на востоке, над крышами, уже проступала розовая полоса — то ли вчерашний закат, то ли завтрашний рассвет, их здесь, в июне, было не различить.

«В этом городе даже ночь не умеет быть тёмной», — подумала Эмма.

И ещё подумала, крепче прижимая к себе книгу с тем словом, которое нельзя было произносить вслух: может быть, это и есть самое главное, что о нём надо знать.



Глава 3. Учитель русского

1. Учитель

— Русский язык, — сказал отец, — нужен для торговли. Покупатель должен понимать, что ему говорят. А всё остальное — от лукавого.

Это было в сентябре, в воскресенье, за обедом, и это было согласие. Эмма поняла это не сразу: отец умел соглашаться так, что согласие звучало как запрет. Но Елена под столом сжала ей руку, и Эмма поняла.

Месяц Елена уговаривала его. Месяц приводила доводы: что Эмма пишет по-русски с ошибками, что в лавке её стыдно ставить за прилавок — путает падежи, что кухарки смеются, что в Петербурге без хорошего русского ни замуж, ни на место. Последний довод подействовал. Слово «замуж» отец любил. Он произносил его так, как произносят слово «продажа».

— Сколько? — спросил он.

— Нисколько, — сказала Елена. — Я плачу.

Отец посмотрел на неё долгим тяжёлым взглядом. Он не любил, когда Елена тратила деньги без спросу, но ещё больше не любил тратить свои.

— Кто учитель?

— Студент. Медик. Из хорошей семьи. Ему нужен приработок.

— Студент, — повторил отец с отвращением, будто это было ругательство. — Они все там бомбы делают.

— Этот делает только диктанты, — сказала Елена так спокойно, что Эмма восхитилась. — Я узнавала.

Студент пришёл в следующее воскресенье, в четыре часа, и Эмма, которая ждала его с самого утра и трижды переплетала косу, сразу поняла, что Елена была права: этот бомб не делал.

Он был маленький — не выше Елены, — круглолицый, румяный, в очках с толстыми стёклами, которые всё время сползали на кончик носа, и он поправлял их указательным пальцем быстрым, смешным движением, похожим на то, как воробей клюёт крошку. Русые волосы торчали вихром на макушке, как бы он их ни приглаживал. Тужурка новая, явно купленная на вырост, рукава закрывали пальцы. Под мышкой — стопка книг, перевязанная бечёвкой. На вид ему было лет семнадцать. Потом оказалось — девятнадцать.

— Н-иколай Ершов, — сказал он, краснея до ушей. — Можно просто Коля. То есть — Николай Степанович. То есть... — Он окончательно смутился. — Как вам будет удобнее.

Он заикался, когда волновался. Это Эмма тоже поняла сразу. И ещё поняла, что волнуется он постоянно.

Мать посмотрела на него, на его очки, на его тужурку и, кажется, успокоилась. Отец посмотрел — и, кажется, тоже. Такой не мог ни сделать бомбу, ни соблазнить дочь. Его пустили в комнату, посадили за стол, где по будням Елена ретушировала негативы, и оставили наедине с ученицей. То есть не совсем наедине: в соседней комнате мать штопала, и дверь была открыта.

Коля развязал бечёвку. Книги рассыпались по столу: грамматика Буслаева, хрестоматия, тонкая книжка Пушкина, ещё одна, потолще, — Некрасов.

— С ч-чего начнём? — спросил он. — Я, признаться, никогда раньше не учил. То есть учил — в деревне, летом, ребяташек. Буквам. Но это совсем другое. Елена Абрамовна говорит, вы уже читаете.

— Читаю, — сказала Эмма. — Плохо. По-немецки хорошо. По-русски — как будто через стекло. Мутное.

Коля перестал поправлять очки.

— Как вы сказали? — спросил он. — Через стекло?

— Ну да. — Эмма смутилась. — Слова видно, а смысл — не очень. Как будто он за стеклом, и стекло грязное, и надо протереть, а протереть нечем.

Коля смотрел на неё через свои толстые стёкла, и лицо у него было такое, будто ему подарили что-то неожиданное.

— Это п-прекрасно, — сказал он. — Это очень точно. Это... Знаете что? Давайте протирать. Вместе.

Они начали с диктанта. Коля читал медленно, отчётливо, из хрестоматии — что-то про осень, про листья, про журавлей. Эмма писала. Когда он взял тетрадь и стал проверять, его лицо делалось всё более печальным, а красный карандаш в его руке двигался всё быстрее.

— Т-тридцать две ошибки, — сказал он наконец почти виновато. — В двенадцати строчках.

— Я знаю, — сказала Эмма. — Падежи. Я их не чувствую. По-немецки их четыре, а у вас шесть. Зачем вам шесть?

— Ч-чтобы... — Коля задумался. — А правда, зачем? Никогда не думал. — Он вдруг засмеялся, искренне, по-мальчишески. — Наверное, чтобы иностранцы мучились.

— Я не иностранка, — сказала Эмма. — Я родилась в Ковно. Это Россия.

Коля перестал смеяться.

— Да, — сказал он серьёзно. — Простите. Конечно. Вы — не иностранка.

Это было странно, но от этих слов Эмме стало тепло. Никто ещё так ей не говорил. Отец говорил: «Мы здесь чужие». Мать говорила: «Мы — евреи, у нас своя родина, она в Палестине, и когда придёт Мессия...» Околоточный говорил: «из ваших». А этот румяный студент в очках сказал: «Вы — не иностранка» — и сказал так, будто это было очевидно.

Дальше было легче. Коля объяснял падежи не по Буслаеву, а по-своему — на примерах, смешных и неожиданных. «Кого? Чего? — Нет хлеба. Нет денег. Нет свободы. Видите? Родительный падеж — это падеж отсутствия. Чего нет». Эмма засмеялась. «Кому? Чему? — Даю хлеб голодному. Даю книгу ученице. Дательный — это падеж подарка». «Кем? Чем? — Управляю губернией. Владею имением. Творительный, — он помолчал, — это падеж власти».

— А предложный? — спросила Эмма. — О ком? О чём?

— О, это самый интересный, — сказал Коля и наклонился к ней через стол, и глаза его за очками заблестели. — Это падеж мысли. О чём думаешь? О ком мечтаешь? О чём говорим, когда никто не слышит? В нём всё — и мечта, и тайна, и...

Он вдруг остановился, покосился на открытую дверь, за которой мать штопала, и снова покраснел.

— И грамматика, — громко закончил он. — Предложный падеж — очень важная часть грамматики.

Эмма прыснула в кулак.

В конце урока он открыл Некрасова.

— Это я вам оставляю, — сказал он. — Почитайте. Не для грамматики. Просто так. Это наш... Это, по-моему, самый русский поэт. Самый честный.

Он перелистнул страницы и вполголоса, чтобы не слышала мать, прочёл несколько строк — про то, кому на Руси жить хорошо. Про мужиков, которые сошлись на дороге и заспорили. Читал он плохо, сбивчиво, заикаясь, но с таким чувством, что Эмма забыла и про заикание, и про очки.

— Это о них, — сказал Коля, закрыв книгу. — О мужиках. О народе. Понимаете? Не о царях, не о героях — о тех, кто пашет. Некрасов первый сказал, что они — люди. Что у них тоже есть... — Он поискал слово. — Предложный падеж. Мысли. Мечты.

— Я знаю, — сказала Эмма.

— Откуда?

— У меня подруга на фабрике. Глаша. Из Тверской губернии. Она знает больше песен, чем все ваши поэты вместе. Я её учу буквам.

Коля смотрел на неё так долго, что очки снова сползли, и он забыл их поправить.

— Вы учите буквам фабричную девушку, — сказал он наконец медленно. — Вам тринадцать лет, вы работаете на фабрике, вы сами пишете с тридцатью двумя ошибками, и вы учите буквам другую.

— Ну да, — сказала Эмма. — А что?

— Ничего, — сказал Коля и вдруг улыбнулся так широко, что стал похож на ребёнка. — Ничего. Просто... Вы — то, о чём мы все говорим. А вы — делаете.

Он ушёл, оставив Некрасова. Мать вошла в комнату, посмотрела на книгу на столе, взяла её, полистала.

— Стихи, — сказала она. — Отец не одобрит.

— Это для грамматики, мама.

Мать посмотрела на неё. Мать всегда знала, когда Эмма врёт. Но в этот раз она ничего не сказала, только положила книгу обратно и ушла. А Эмма до полуночи сидела у окна и читала про мужиков на дороге, медленно, с трудом, шевеля губами, протирая мутное стекло слово за словом.

В понедельник она пересказала Глаше в обед, как могла, начало поэмы — про семерых мужиков, которые заспорили, кому живётся весело, выгодно на Руси.

— Попу, — сразу сказала Глаша. — Это всякий дурак знает. Попу да барину. Ну ещё купцу. А нам-то кому? — Она подумала. — Нам — никому. Это и спорить нечего.

— Они и не про нас спорят, — сказала Эмма. — Они ищут. Ходят по всей Руси и ищут, кто счастливый.

— Ну и как, нашли?

— Не знаю ещё. Я дальше не прочла.

— Прочтёшь — скажешь, — потребовала Глаша. — Мне интересно. Может, и я куда схожу.

2. Засулич

Зимой уроки стали другими.

Грамматика никуда не делась — Коля был добросовестный и каждое воскресенье начинал с диктанта, и ошибок становилось меньше: двадцать, пятнадцать, восемь. В декабре было четыре, и Коля, проверив, вскочил, опрокинул чернильницу и закричал «Ура!» так громко, что из соседней комнаты прибежала мать. Но после диктанта, когда мать уходила к себе, а дверь оставалась открытой лишь на ладонь, Коля понижал голос и рассказывал.

Он рассказывал о том, чего не было ни в хрестоматии, ни в Буслаеве. О хождении в народ — как в семьдесят четвёртом году тысячи студентов, юношей и девушек, бросили университеты, переоделись в крестьянское и пошли по деревням учить и лечить. Как их встречали мужики — кто хлебом, кто дубьём. Как их сажали. Как был процесс «ста девяноста трёх», огромный, на весь Петербург. Он рассказывал об этом так, будто сам ходил, хотя в семьдесят четвёртом ему было одиннадцать.

— Мой старший брат ходил, — объяснил он, когда Эмма спросила. — В Самарскую губернию. Его взяли через три месяца. Мужики сдали. Он сидел в Петропавловке, потом его выслали. Он и сейчас в ссылке. В Вологде. Пишет мне раз в год. Мать каждую ночь плачет.

— Он злится? На мужиков?

Коля подумал.

— Нет, — сказал он. — Он пишет: они не виноваты. Они не знают. Их триста лет учили, что барин — от Бога, а студент — от чёрта. За три месяца не переучишь. Надо — триста лет. Или хотя бы тридцать. Учить, учить и учить.

— А другие? — спросила Эмма. — Те, что... с Перовской? Они тоже так думали?

Коля посмотрел на дверь. Потом ещё сильнее понизил голос.

— Они думали, что тридцати лет у нас нет. Что пока мы учим, власть нас перевешает поодиночке. Что надо ударить — сразу, в самое сердце, и тогда... — Он замолчал. — Я не знаю, кто прав. Правда не знаю.

В одно воскресенье в январе он пришёл возбуждённый, красный, с горящими глазами, и даже не стал начинать с диктанта.

— Вы знаете про Засулич? — спросил он шёпотом, едва мать вышла.

— Нет, — сказала Эмма. — Кто это?

— Вера Засулич. Неужели не слышали? Это же... это пять лет назад было. Весь Петербург... Вся Россия... — Он оглянулся на дверь и придвинулся ближе. — Слушайте.

И он рассказал.

Летом семьдесят седьмого года в Доме предварительного заключения сидел студент Боголюбов. Политический. Сидел уже год, ждал суда. И однажды, когда он гулял во дворе с другими арестантами, в тюрьму приехал градоначальник Петербурга. Генерал. Боголюбов, проходя мимо, не снял перед ним шапку.

— Он не снял шапку, — повторил Коля. — Понимаете? Только шапку. И генерал приказал его высесть. Розгами. Политического. Образованного человека. Студента. Это было запрещено законом — сечь политических. Генерал знал. Ему было всё равно.

Боголюбова высекли во дворе, на глазах у всей тюрьмы. Заключённые в окнах кричали, били в решётки, их потом самих избивали надзиратели. Боголюбов после этого сошёл с ума.

— А через полгода, — сказал Коля, и голос у него дрогнул, — в январе семьдесят восьмого, к генералу на приём пришла девушка. Молодая. Тихая. В простом платье. Подала прошение. И когда он стал читать, достала из-под накидки револьвер и выстрелила в него. Ранила. Не убила.

— Это была Засулич, — сказала Эмма.

— Это была Засулич. Она даже не знала Боголюбова. Никогда не видела. Она просто... не могла этого вынести. Что человека можно высесть за шапку — и ничего. Что никто не ответит.

Её судили. Судили присяжные — двенадцать обычных людей, чиновники, купцы, мещане. Все думали: каторга. Может быть, виселица. Прокурор требовал. А защитник говорил так, что в зале плакали. И присяжные вышли, совещались несколько минут и вернулись. И старшина сказал: «Нет, не виновна».

— Не виновна, — повторил Коля, и глаза у него за очками были мокрые. — Двенадцать купцов и чиновников. Обыватели. Они её оправдали. Понимаете? Не студенты, не революционеры — обыватели. Потому что даже они поняли, что так нельзя. Что сечь людей за шапку нельзя. Толпа на улице вынесла её на руках. Полиция хотела её снова схватить, прямо у суда, — но толпа не дала. Её увезли, спрятали, переправили за границу. Она и сейчас там. В Швейцарии.

Эмма сидела, затаив дыхание. Это была лучшая история, какую она когда-либо слышала. Лучше королевы Луизы. Лучше Марлитт. Лучше всего.

— А генерал? — спросила она. — Он выжил?

— Выжил, — сказал Коля. — Его потом отправили в отставку. Тихо, без шума. Он и сейчас жив, кажется, в имении сидит. Трепов. Фёдор Фёдорович Трепов.

Эмма не сразу поняла.

А потом поняла.

Слово ударило её, как тогда холод в ручье, — не в голову, а в середину, в живот, в спину. Трепов. Тот самый Трепов. Добрый Трепов. Трепов, перед которым мать стояла на коленях. Трепов, который вернул с этапа её брата, дядю Егора. Трепов, о котором в семье рассказывали как о чуде, как о милости Божьей. «Ваша мать говорила с самим Треповым!» — с гордостью рассказывали тётки в Кёнигсберге.

— Вы что? — испуганно спросил Коля. — Вам плохо?

— Трепов, — сказала Эмма. Голос у неё был чужой. — Он... добрый?

Коля посмотрел на неё с недоумением.

— Добрый? Трепов? — Он почти рассмеялся, но, увидев её лицо, осёкся. — Нет. Он... Он был... Знаете, что про него говорили? Что он в шестьдесят третьем, в Варшаве, умирал восстание. Что приказал стрелять в толпу. Что...

— Хватит, — сказала Эмма.

Коля замолчал.

Она сидела, глядя на стол, на тетрадку с диктантом, в которой было четыре ошибки, и думала о матери. О матери на коленях. Перед человеком, который велел высечь студента за шапку. Мать целовала ему руку? Мать говорила «ваше превосходительство»? Мать благодарила его — со слезами? Она, Таубе Гольдман, гордая, красивая, — перед ним?

И он — милостиво — вернул ей брата. Одного студента вернул. А другого — высек. Почему? Почему одного так, а другого эдак? Потому что настроение было хорошее? Потому что мать была красивая и плакала?

— Эмма Абрамовна, — тихо сказал Коля. — Я что-то не то сказал?

— Нет, — сказала Эмма. — Вы всё сказали правильно. Это я... Это ничего.

В феврале, через три недели, он пришёл бледный и не рассказывал ничего. Диктант читал рассеянно, путал строчки, дважды перечитал одну и ту же фразу. Эмма смотрела на него и наконец спросила прямо:

— Что случилось?

Коля снял очки и протёр их, долго, тщательно, будто от этого зависела его жизнь.

— Фигнер взяли, — сказал он, не поднимая глаз. — В Харькове. Десятого числа.

— Кто это?

— Вера Николаевна Фигнер. — Он надел очки. — Последняя. Последняя из Исполнительного комитета, кто оставался на свободе. После первого марта их всех... по одному... А она держалась два года. Всё на ней. Всё. И вот.

— Как её взяли?

— Выдали, — сказал Коля. — Говорят — свой. Кто-то из своих. Никто не знает кто. — Он посмотрел в окно. — Андрей Петрович сам не свой. Он её знал. Лично. Он говорит: теперь всё. Теперь кончено.

Он закрыл книгу.

— Простите, — сказал он. — Я сегодня не могу. Давайте в следующее воскресенье.

Он ушёл, забыв на столе свою бечёвку. Эмма долго держала её в руках — обычную серую бечёвку, которой он перевязывал книги. И думала о женщине по имени Вера, которую выдал свой. Две Веры: одна стреляла в Трепова, и её вынесли на руках. Другая два года держала на себе всё — и её выдал свой.

Она не знала тогда, что пройдёт тридцать семь лет, и она увидит Веру Фигнер — седую, прямую, вышедшую из двадцатилетнего заточения в Шлиссельбурге, — и они будут пить чай в холодной комнате в Москве, и говорить о том, во что превратилась их революция.

Ничего этого она не знала. Она сидела у стола с бечёвкой в руках и думала о том, что значит — свой.

3. Дядя Егор

Она продержалась два месяца.

Два месяца она смотрела на мать и молчала. Мать вязала, стряпала, считала деньги, ходила в синагогу по субботам, укладывала Егора, молилась над свечами в пятницу вечером, и Эмма смотрела на её руки, на её прямую шею, на тяжёлые тёмные волосы, собранные в узел, и видела одно: мать на коленях. Мать, протягивающая руки к генералу в мундире. Генерал улыбается. Генерал милостив.

Мать заметила. Мать всегда всё замечала.

— Что ты на меня так смотришь? — спросила она однажды, в апреле, когда они вдвоём перебирали гречку на кухне. — Вторую неделю смотришь. Будто я тебе должна.

И Эмма не выдержала.

— Мама, — сказала она. — А твой Трепов сёк людей.

Мать перестала перебирать гречку. Руки её остановились, замерли над миской.

— Что? — спросила она очень тихо.

— Трепов. Генерал. Тот, перед которым ты стояла на коленях. Он приказал высечь студента. Боголюбова. За то, что тот не снял шапку. Студент сошёл с ума. А потом одна девушка в него стреляла, в Трепова, и присяжные её оправдали, потому что даже они поняли, какой он... А ты говоришь — добрый. Ты целовала ему руку. Ты...

— Откуда ты это знаешь? — перебила мать. — От этого студента? От Ершова?

Эмма промолчала. Мать медленно положила горсть гречки обратно в миску.

— Ясно, — сказала она. — Так. Ясно.

Она долго сидела молча. Эмма ждала крика. Ждала пощёчины. Ждала, что мать сейчас пойдёт к отцу и уроки кончатся навсегда. Но мать не двигалась. Она смотрела куда-то мимо Эммы, в стену, и лицо у неё было такое, какого Эмма никогда не видела, — открытое. Не красивое, не строгое, не чужое. Просто открытое, как дверь, которую забыли закрыть.

— Сядь, — сказала мать.

Эмма села.

— Ты думаешь, ты знаешь, — сказала мать. — Ты прочла книжку, тебе рассказал студент, и ты думаешь, что знаешь. Хорошо. Я тебе расскажу. Слушай. Только не перебивай.

И она рассказала.

Дядя Егор был младшим братом матери, на двенадцать лет моложе её, и она его вырастила. Их мать — Бабушка — была всегда в разъездах, по своей «коммерции», а отец давно умер, и Таубе, старшая, стала младшим и матерью, и нянькой, и учительницей. Егор был способный. Такой способный, что его взяли в гимназию в Ковно, одного еврея на весь класс, а потом, чудом, через взятки и связи, — в Петербургский университет. Таубе продала свои серьги, чтобы его туда отправить.

— Он писал мне письма, — сказала мать. — Каждую неделю. Какой город, какие профессора, какие книги. Я их хранила. До сих пор храню. В сундуке. Потом письма стали реже. Потом другие. Что-то про народ, про справедливость, про то, что надо всё изменить. Я не понимала. Я думала — молодость. Пройдёт.

А потом пришло письмо не от Егора. От его товарища. Что Егор арестован. Что сидит в крепости. Что его, вероятнее всего, отправят в Сибирь. На поселение. Навсегда.

— Мне было двадцать шесть лет, — сказала мать. — У меня была Елена, маленькая. Я только-только вышла второй раз замуж, за твоего отца. Он запрещал. Он кричал. Он сказал, что если я поеду, то могу не возвращаться. — Она помолчала. — Я поехала.

Она ехала в Петербург три дня. В третьем классе, с Еленой на руках. Деньги заняла у Бабушки. В Петербурге никого не знала. Пошла к генерал-губернатору — не пустили. Пошла

в жандармское управление — выгнали. Пошла в крепость — там с ней даже разговаривать не стали. Она ходила неделю. Спала на постоялом дворе, у какой-то еврейской вдовы, Елену оставляла с ней. Деньги кончались.

— А потом мне сказали, — продолжала мать, — что градоначальник принимает прошения по средам. Что он иногда бывает милостив. Если повезёт. Если попасть в настроение. Если... — Она запнулась. — Если просительница понравится.

Эмма похолодела.

— Я пошла, — сказала мать. — В среду. Надела лучшее платье. Единственное. Синее. Причесалась. Взяла прошение, которое мне написал за рубль писарь на углу. И ждала. В приёмной. С восьми утра. Там было человек пятьдесят. Купцы, вдовы, офицерские жёны, мужики в армяках. Евреев — я одна. На меня смотрели. Чиновник у двери сказал: «А ты, жидовка, куда? Здесь для православных». Я сказала, что у меня прошение к его превосходительству. Он засмеялся. Но не выгнал.

Она ждала до четырёх часов. Когда её наконец вызвали — последней, — у неё подгибались ноги от голода.

— Он сидел за столом, — сказала мать. — Огромный кабинет. Портрет государя. Ковёр. Он был немолодой, лысый, с бакенбардами, в мундире со звёздами. Он даже не встал. Он посмотрел на меня — вот так. — Мать подняла голову и посмотрела на Эмму сверху вниз, холодно, оценивающе, как смотрят на лошадь. — И спросил: «Ну, что тебе?»

— И ты...

— Я встала на колени, — сказала мать просто. — Сразу. Как вошла. Я не думала. Я знала, что если не встану, он меня не будет слушать. Я встала на колени на его ковёр и протянула прошение и сказала, что мой брат молод, что он глуп, что он раскаивается, что он единственная опора нашей бедной семьи, что я его вырастила, что я умоляю, умоляю его превосходительство... Я плакала. Я говорила и плакала. Я сказала всё, что написал писарь, и ещё больше. Я бы и сапоги ему поцеловала, если бы он велел.

Она замолчала. Эмма сидела не дыша.

— Он слушал, — сказала мать. — Долго. Смотрел на меня. Потом взял прошение, прочёл. Потом сказал адъютанту: «Справиться». И мне: «Ступай». И я ушла. А через месяц пришло письмо, что Егора вернули с этапа. Из-под Вологды. Что ему разрешено вернуться в Ковно, под надзор полиции. Что ссылка отменена.

— Почему? — спросила Эмма шёпотом.

Мать пожала плечами.

— Не знаю. Никогда не узнаю. Может быть, я ему понравилась. Может быть, у него было хорошее настроение. Может быть, справились и узнали, что Егор — мелкая сошка. Может быть, просто так. Как бросают нищему копейку. — Она посмотрела на Эмму. — Ты понимаешь? Он мог сделать что угодно. Сослать. Помиловать. Высечь. Это — одно и то же. Это — власть. Сегодня он милует, завтра сечёт. И ты не знаешь, что будет, и ты стоишь на коленях и надеешься.

— Но ты говорила — добрый. Ты всегда говорила — добрый.

— А что я должна была говорить? — В голосе матери впервые прорезалась злость. — Что я ползала на коленях перед человеком, который смотрел на меня, как на собаку? Что меня называли жидовкой в приёмной? Что я неделю спала у чужой вдовы и не знала, вернусь ли домой? Что твой отец после этого полгода со мной не разговаривал? — Она перевела дыхание. — Я говорила «добрый», потому что он вернул мне брата. Это правда. Он вернул. А остальное — моё. Это моё, и я никому не должна.

Она взяла горсть гречки и снова стала перебирать — быстро, резко, будто ничего не случилось.

— Ты думаешь, мне было легко? — сказала она, не поднимая глаз. — Ты думаешь, мне нравилось стоять на коленях? Я гордая, Эмма. Гордее твоего отца. Гордее тебя. Но когда речь идёт о жизни — гордость молчит. Гордость — это для тех, кому нечего терять.

Эмма смотрела на неё и не знала, что сказать. Ей хотелось обнять мать. Ей хотелось закричать. Ей хотелось сказать: «Не надо было! Не надо было вставать на колени!» — и одновременно: «Ты правильно сделала». Ей было жалко мать так, как никогда никого не было жалко, и одновременно она ненавидела — не мать, а того, лысого, в мундире со звёздами, который смотрел сверху вниз и решал: высечь или помиловать. По настроению.

— А дядя Егор? — спросила она наконец. — Где он теперь?

Мать помолчала.

— В Ковно. Женился. Держит аптеку. Ни о каком народе больше не говорит. — Она вздохнула. — Он мне так и не сказал спасибо. Ни разу. Знаешь почему? Потому что ему стыдно. Что сестра за него ползала. Что он спасся не сам, а через колени. Он мне этого никогда не простит.

Они долго сидели молча, перебирая гречку. За окном, во дворе-колодце, капало с крыш: была весна, оттепель.

Потом мать сказала, не поднимая глаз:

— А тот студент, Боголюбов. Он правда сошёл с ума?

— Правда, — сказала Эмма.

Мать кивнула. И больше ничего не сказала. Но Эмма видела, как у неё дрогнули губы.

В мае короновали нового царя. Коронация была в Москве, но и Петербург праздновал: на Невском развесили флаги, на домах вензеля из фонариков, вечером — иллюминация, весь город в огнях. Отец вывесил над лавкой трёхцветный флаг, большой, новый, купленный за полтора рубля — дорого, мать ругалась.

— Околоточный проверяет, — объяснил отец угрюмо. — Кто не вывесил — тот, значит, неблагонадёжный. Из наших — особенно.

Мать ничего не сказала. Но вечером, когда отец ушёл, Эмма увидела, как она стоит у окна и смотрит на огни, и губы её шевелятся. Молилась? За царя?

— Мама, ты за него молишься?

— Я молюсь, — сказала мать, не оборачиваясь, — чтобы он был добрее отца. Больше ни о чём.

Вечером они с Еленой вышли на Невский. Толпа, огни, музыка, военный оркестр у Гостиного двора, ракеты над Невой — зелёные, красные, золотые. Люди кричали «ура». Глаша, которую они случайно встретили у Казанского собора, кричала громче всех и махала платком, и, увидев Эмму, бросилась к ней обниматься.

— Видала? Видала, Эммочка? Красота-то какая! Царь-батюшка! Помазанник!

— Видала, — сказала Эмма.

Она стояла посреди толпы, в огнях, и смотрела, как над Невой рассыпаются звёзды ракет, и не знала, что чувствует. Было красиво. Было весело. Глаша смеялась. Елена держала её за руку. А в голове у неё была мать на коленях на ковре, и лысый человек со звёздами на мундире, и студент, которого высекли за шапку.

И она подумала: «Глаша кричит "ура" тому, кто может велеть высечь её брата. И радуется. И я не могу ей объяснить. Потому что она меня не поймёт. Потому что для неё это — батюшка».

Над Невой распустилась последняя ракета — огромная, золотая, — и толпа ахнула, и в этом общем вздохе Эмма вдруг почувствовала себя совсем одной.

4. Попеляны

Письмо пришло в июле, в самую жару, когда в цеху было так душно, что девушки сидели в одних рубашках, подоткнув юбки, а герр Бауэр снял наконец свой сюртук и ходил в жилете, и все смотрели на это как на чудо.

Глаша принесла письмо в обед. Оно было измятое, грязное, сложенное в восьмушку, и она держала его так, как держат что-то горячее.

— Эммочка, — сказала она. — Прочти. Я пробовала — не разбираю. Почерк больно кривой. Дьячок писал.

За год Глаша научилась читать. По слогам, медленно, водя пальцем, она уже могла разобрать вывеску или заголовок в газете. Она очень этим гордилась. Но письмо, написанное деревенским дьячком, рукописное, без точек и запятых, было ей не под силу.

Эмма развернула. Почерк действительно был ужасный — буквы налезали одна на другую, строчки ползли вверх, и всё было в кляксах. Она начала читать вслух, медленно, разбирая каждое слово.

Письмо было от тётки. Сначала шли поклоны — от тётки, от дяди, от соседей, от батюшки, от всех. Потом про погоду: дожди, рожь полегла. Потом про корову: отелилась, бычок. А потом — Эмма прочла и запнулась.

— Читай, — сказала Глаша. — Чего встала?

Эмма читала. Что на Петров день был волостной суд. Что Ваньку — младшего Глашиного брата, пятнадцати лет — присудили к двадцати розгам. За недоимки. За то, что подати не плачены за прошлый год, а платить нечем, а отец в Питере денег не шлёт. Что старшина сказал — для примера. Что высекли при всех, у волостного правления. Что Ванька не кричал. Что потом три дня лежал на животе. Что теперь ходит, но молчит. Совсем молчит. Никому не говорит ни слова.

«А отцу передай, — дочитала Эмма, — чтоб денег прислал, а то и его самого, как вернётся, высесть грозятся. И кланяемся тебе низко, Глафира Степановна, и желаем доброго здоровья».

Она опустила письмо.

Глаша сидела неподвижно. Лицо её не изменилось, только побледнело, и рыжие веснушки проступили на нём, как брызги грязи на снегу. Она не плакала. Она смотрела перед собой и молчала. Потом взяла письмо из рук Эммы, сложила его снова в восьмушку, аккуратно, по старым сгибам, и спрятала за пазуху.

— Пятнадцать, — сказала она. — Ему пятнадцать. Он мне всё на свистульке играл. Сам вырезал из ивы.

И замолчала.

Эмма хотела что-то сказать — что угодно. Но слова не шли. Она сидела рядом с Глашей на скамье и вдруг, совершенно неожиданно, почувствовала запах.

Не кожи. Не клея. Запах конского пота, сена и чего-то ещё — сырой земли после дождя. Попеляны.

Ей было шесть лет. Может быть, семь. Был летний вечер, и она бегала по двору постоянного двора, который держал отец, в маленьком курляндском местечке, где кругом были луга, и река, и господская усадьба вдали за липами. И вдруг во дворе стало тихо. Все — работники, служанки, проезжие — стояли и смотрели в сторону конюшни. Эмма протиснулась между юбками.

У конюшни, на земле, лежал человек. Крестьянин, бородатый, без рубахи. Его держали двое. А третий — урядник, в фуражке, с усами — стоял над ним с длинными прутьями в руке. Прутья поднимались и падали. Поднимались и падали. С каждым ударом человек на земле

вздрагивал всем телом и издавал звук — не крик, а что-то вроде мычания, глухое, страшное. На его спине появлялись полосы, красные, потом тёмные. Потом кровь.

Эмма закричала.

Она не помнила, что кричала. Помнила только, что вырвалась, побежала к конюшне, к уряднику, хотела схватить его за руку — и её перехватили. Мать. Мать держала её, прижимала к себе, а Эмма билась у неё в руках и кричала, и плакала, и мать закрывала ей глаза ладонью, а она всё равно видела — сквозь пальцы, — как поднимаются и падают прутья.

— За что? — кричала она. — За что? За что?

— Молчи, — шептала мать. — Молчи. Это не наше дело. Молчи.

Потом всё кончилось. Человека подняли, увели. Урядник пошёл к отцу пить чай — отец угощал его, отец всегда угощал урядника, так было надо. А Эмма сидела на крыльце, вся в слезах, и её трясло так, что стучали зубы.

И тогда пришёл Петрушка. Пастух, большой, добрый, пахнувший овчиной и травой. Он сел рядом с ней на крыльцо, ничего не говоря. Потом достал из-за пояса свою дудку, деревянную, самодельную, и заиграл. Тихо. Что-то протяжное, простое, похожее на ветер в камышах. Эмма постепенно перестала дрожать. Потом он взял её за руку и повёл на луг, за околицу, где паслось стадо, и они сидели там на траве до темноты, и он играл, а она слушала, и звёзды выходили одна за другой.

Она тогда спросила его — она помнила это точно:

— Петрушка, а за что его?

И Петрушка долго молчал, а потом сказал, глядя на звёзды:

— А ни за что, барышня. Так заведено. Господа секут, а мы терпим. Испокон веку.

— А если не терпеть?

— А если не терпеть — ещё хуже будет. — Он снова поднёс дудку к губам. Потом опустил. — Ты не думай про это, барышня. Ты маленькая. Вырастешь — может, и не секут уже. Может, Бог даст.

Потом отец прогнал Петрушку — за что-то, Эмма так и не узнала за что. Она плакала неделю.

— Эммочка, — тронула её за плечо Глаша. — Ты чего? Побелела вся.

Эмма вздрогнула. Цех. Жара. Запах кожи. Девушки за столами. Глаша рядом, с письмом за пазухой.

— Ничего, — сказала она. — Вспомнила одно.

— Что?

Эмма посмотрела на неё.

— Я видела, как секут, — сказала она. — Маленькой. У нас в местечке. Мужика у конюшни. Я тогда спросила, за что. Мне сказали: ни за что. Так заведено.

Глаша кивнула, будто это было самое обычное дело на свете.

— Так и есть, — сказала она. — Так заведено. Ваньку вот тоже. Ни за что. За то, что денег нет.

— Но ведь это... — Эмма запнулась. Она хотела сказать «несправедливо», но слово показалось ей слабым, детским, как шалевый цветок. — Это — власть, — сказала она вместо этого. — Это и есть власть. Кто может сечь — тот и власть.

Глаша посмотрела на неё с удивлением.

— Чего?

— Ничего, — сказала Эмма. — Я потом объясню.

Но объяснить она не могла. Даже себе. Она только чувствовала, что вот сейчас, в эту минуту, на этой скамье, рядом с Глашей, у которой за пазухой письмо, что-то сложилось у неё в голове — как складывается узор, когда вяжешь, и вдруг из отдельных петель получается ромбик. Трепов — и Боголюбов, высеченный за шапку. Урядник у конюшни в Попелянах. Волост-

ной старшина, высекший Ваньку «для примера». И мать на коленях перед лысым генералом. И отец, угощающий урядника чаем. И отец, кричащий на неё, когда боится околоточного.

Это всё было одно. Одно и то же. Одна цепь. И она тянулась сверху — от лысого со звёздами, от того, кто сейчас в Москве надел корону, — вниз, через губернаторов, исправников, урядников, старшин, через отца с его фартуком и его страхом, — до самого низа. До Ваньки, пятнадцати лет, который вырезал свистульки из ивы и который теперь молчит.

И каждый в этой цепи, кроме самого нижнего, — кого-то сечёт. И каждый, кроме самого верхнего, — перед кем-то стоит на коленях.

Глаша вдруг всхлипнула. Один раз, тихо, коротко. И тут же утёрла нос рукавом и встала. — Ну, хватит рассиживаться, — сказала она хрипло. — Бауэр идёт. Работать надо.

Она пошла к своему столу. А потом, через минуту, когда герр Бауэр прошёл мимо и скрылся в конторе, она вдруг запела. Не протяжное — нет. Что-то быстрое, злое, с притопом. И девушки подхватили — сначала неуверенно, потом громче, громче, и через минуту весь цех гремел этой песней, и Глаша пела так, что голос у неё срывался, и на щеках у неё блестели слёзы, но она пела и не переставала.

Эмма не знала слов. Но она пела тоже.

5. Нигилист

«Отцов и детей» она дочитала в августе. Медленно, с трудом, с карандашом в руке — подчёркивала слова, которые не понимала, и в воскресенье спрашивала у Коли. Слово, которое нельзя было произносить вслух, она нашла на двадцатой странице. Но поняла его только к концу книги.

Нигилист. Человек, который ничего не принимает на веру. Который не склоняется ни перед какими авторитетами. Который, как сказал о Базарове его приятель Аркадий, «смотрит на всё с критической точки зрения».

Эмма перечитала эту страницу пять раз.

Базаров ей не понравился. Он был грубый, насмешливый, резал лягушек, презирал музыку и стихи, называл любовь чепухой. Он был противный. Но когда он умирал — от заражения крови, глупо, нелепо, оттого что порезался, вскрывая мёртвого мужика, — Эмма плакала так, что мать прибежала из соседней комнаты. А потом, уже без слёз, она нашла одну фразу и долго сидела над ней.

«Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник».

Не храм. Мастерская. Не Бог, не царь, не Трепов — работник. Человек — работник. Как Глаша. Как она сама за своим столом, выворачивающая пятьсот пальцев в день.

Она переписала эту фразу на обрывок бумаги и спрятала в свою книжку о королеве Луизе — между страниц, туда, где королева плакала над обидами, нанесёнными Наполеоном. Ей показалось, что так правильно.

А в сентябре пришло известие, что Тургенев умер.

Он умер во Франции, где жил последние годы, и тело его везли в Петербург хоронить. Об этом писали все газеты, и говорили все — на фабрике, в лавке, на улице. Даже отец, который никогда не читал ничего, кроме торговых объявлений, сказал за ужином, что «покойник был знаменитый писатель и его почитают при дворе». А Коля в воскресенье пришёл в чёрной повязке на рукаве и сказал, что во вторник будут похороны и что он идёт и что...

— Возьмите меня, — сказала Эмма, прежде чем он договорил.

Коля посмотрел на неё, потом на дверь.

— Ваш отец не пустит.

— Отец будет в лавке. Мама отпустит, если Елена пойдёт.

Елена пошла.

Это было двадцать седьмого сентября, во вторник, и утро было серое, холодное, с моросью. Они вышли к Варшавскому вокзалу рано, к девяти, — и не смогли пробиться. Вся площадь, все прилегающие улицы были заполнены людьми. Студенты в тужурках, курсистки в тёмных платьях, литераторы в шляпах, чиновники, купцы, мастеровые, гимназисты с венками. Венков было столько, что их несли целыми процессиями — по десять, по двадцать человек, — серебряные, лавровые, из живых цветов, с лентами: «Автору "Записок охотника"», «Певцу русской природы», «От студентов Петербургского университета». И везде, на каждом углу, в каждом переулке — полиция. Пешая и конная. Городовые стояли цепью вдоль тротуаров. Жандармы гарцевали на лошадях. У Обводного канала Эмма увидела целый отряд казаков с нагайками, неподвижный, как статуи.

— Боятся, — прошептал Коля. — Они боятся покойника. Мёртвого старика боятся.

— Почему? — шёпотом спросила Эмма.

— Потому что он написал Базарова, — сказал за её спиной знакомый голос. — А Базаров, как известно, был очень опасный человек. Хоть и вымышленный.

Она обернулась. Северцев стоял позади них, длинный, в чёрном пальто с поднятым воротником, без шляпы, мокрые волосы прилипли ко лбу. Он похудел ещё больше, чем в последний раз, когда она его видела, и лицо у него было серое, как это утро. Но в углу рта сидела всё та же усмешка.

— Андрей Петрович, — сказала Елена.

— Елена Абрамовна. Коля. — Он кивнул им и снова посмотрел на Эмму. — А, нигилистка. Прочли урок первый?

— Прочла, — сказала Эмма.

— И как?

— Базаров противный, — сказала Эмма. — Но прав.

Северцев засмеялся — коротко, неожиданно, так, что несколько человек в толпе обернулись.

— Противный, но прав, — повторил он. — Лучшей рецензии на «Отцов и детей» я не слышал. Надо было вам её Салтыкову в «Отечественные записки» отправить. Пока их не закрыли — а закроют, помяните моё слово.

Процессия тронулась около одиннадцати. Они шли в огромной толпе, медленно, то и дело останавливаясь, по набережной Обводного канала, к Волкову кладбищу. Гроб везли на колеснице, за ним шли родные, литераторы, депутаты, а потом — все. Тысячи. Эмма никогда не видела столько людей сразу, даже на коронации. И это была совсем другая толпа: не кричала «ура», не махала платками. Она шла молча, тяжело, плотно, и в этом молчании было что-то такое, от чего мурашки бежали по спине.

— Речей не будет, — тихо говорил Коля Северцеву, шагая рядом. — Градоначальник запретил. Только разрешённые. Только от академии и от литературного фонда. И только чтобы ни слова о... ни о чём.

— Разумеется, — сказал Северцев. — Над гробом Тургенева можно говорить только о русской природе. О берёзках. О соловьях. Ни слова о мужиках из «Записок охотника». Ни слова о Базарове. Ни слова о том, что этот старик всю жизнь писал о том, как русский человек мечтает о свободе и никогда её не получает.

— Андрей Петрович, тише, — сказала Елена. Рядом шёл городской.

— А что тише? — Северцев не понизил голоса. — Я говорю о берёзках, Елена Абрамовна. Исключительно о берёзках.

Потом, уже на подходе к кладбищу, когда толпа сгустилась так, что пришлось остановиться, Коля вдруг сказал, глядя на венки впереди:

— А всё-таки он победил. Тургенев. Смотрите, сколько людей. Всё это — студенты, курсистки, рабочие даже. Они все читали. Понимаете? Читали. Книга — вот что меняет людей. Не

бомба. Книга. Он написал «Записки охотника» — и государь, говорят, прочёл, и через девять лет отменил крепостное право. Одна книга — и двадцать миллионов человек свободны. Вот что такое слово.

Северцев повернулся к нему.

— Говорят, Коля, — сказал он. — Это легенда. Красивая, но легенда. А со дня воли прошло двадцать два года. И «свободны» — это громко сказано. Ваш тверской мужик и теперь сидит на отрезках, платит выкупные, и его секут по приговору волостного суда. Это, по-вашему, свобода?

— Это лучше, чем было!

— Лучше, — согласился Северцев. — На вершок. За двадцать два года. Ещё сто лет — и, глядишь, мужику позволят не снимать шапку перед становым. Вы этого ждёте? Вы будете учить буквам — по одному мужику в год? Через сколько веков вся Россия будет грамотной?

— А вы, — Коля покраснел, очки сползли на кончик носа, — вы что предлагаете? Опять бомбы? Мы уже бросили бомбу! И что? Вы сами говорили — получили Победоносцева! Получили Игнатьева! Фигнер в крепости! Все в крепости!

Северцев молчал. Лицо его стало совсем серым.

— Да, — сказал он наконец тихо. — Да, Коля. Вы правы. Мы бросили бомбу и получили Победоносцева. А вы учите буквам — и получите... что? Тех же мужиков, только грамотных, которые прочтут в газете, что царя убили жида и студенты. Вот что вы получите. Грамотных погромщиков.

Коля открыл рот и закрыл.

И тогда Эмма — она сама не поняла, как это вышло, — сказала:

— Нет.

Оба посмотрели на неё.

— Нет, — повторила она, и голос у неё дрожал, но она не остановилась. — Глаша грамотная теперь. Она научилась. Читает по слогам. Она мне вчера сказала: «Эммочка, а ведь если б Ванька грамотный был, он бы, может, бумагу написал, жалобу, и его бы не высекли». Понимаете? Она сама так сказала. Не я ей — она мне. Она не стала погромщицей. Она стала... — Эмма поискала слово. — Она стала думать. Сама. Своей головой.

Она замолчала, испугавшись собственной смелости. Вокруг шумела толпа, моросил дождь, где-то впереди, у ворот кладбища, играл духовой оркестр.

Северцев смотрел на неё долго. Потом медленно сказал:

— А жалобу бы не приняли, — сказал он. — Или приняли бы — и высекли за дерзость. Ещё раз.

— Может быть, — сказала Эмма. — Но тогда бы он знал, за что. А не «так заведено».

Северцев ничего не ответил. Он смотрел на неё, и в его усталых серых глазах было что-то, чего Эмма не поняла, — не насмешка, не спор. Скорее печаль. Или зависть. Или и то, и другое.

— Коля, — сказал он наконец, не отводя от неё взгляда, — вы хорошо учите. Лучше, чем я думал.

И отвернулся.

Речей они так и не услышали — к могиле было не пробиться. Только слышали издали, поверх голов, как кто-то говорил о «великом художнике слова» и о «певце родной природы». Потом пели «Вечную память». Тысячи голосов. Эмма тоже пела, хотя слов не знала и хотя была еврейкой и, кажется, теперь нигилисткой, и петь православное ей было вовсе не положено. Но она пела.

На обратном пути Северцев шёл рядом с ней. Коля с Еленой ушли вперёд, о чём-то споря.

— Нигилистка, — сказал Северцев, глядя под ноги. — Можно вас спросить? Почему вы так за этим держитесь? За буквы? Вы ведь умная. Вы ведь понимаете, что буквами ничего не изменишь. Не при нашей жизни.

Эмма подумала.

— Потому что это — я, — сказала она. — Не руки. Я. Когда я учу Глашу — это я делаю. Сама. Никто не велел, никто не платит. Это — как цветок.

— Какой цветок?

Она хотела объяснить про шаль, про Шапиро, про пять лепестков — и не стала.

— Неважно, — сказала она. — Просто цветок.

Северцев посмотрел на неё сбоку и чуть улыбнулся.

— Ладно, — сказал он. — Тогда урок второй. Скоро. Есть одна книга. Про женщину, которая тоже думала, что может сама. Сделать. Своими руками. Без колен. — Он помолчал. — Её автор двадцать лет провёл на каторге и в ссылке за то, что думал. Последние годы — в Вилуйске, в якутской тайге. Только этой осенью, говорят, перевели в Астрахань — милость нового царя. Но книгу его читает вся Россия. Тайком.

— Как называется?

— «Что делать?», — сказал Северцев. — Простой вопрос. На него до сих пор никто не ответил.

В декабре, в середине месяца, Коля не пришёл на урок.

Эмма ждала его с четырёх до шести. Потом пришла Елена с работы — бледная, с газетой в руке. Она молча положила её на стол перед Эммой и ткнула пальцем в маленькую заметку внизу страницы.

«Шестнадцатого декабря в собственной квартире злоумышленниками убит инспектор секретной полиции подполковник Судейкин...»

— Кто это? — спросила Эмма.

— Это тот, кто ловил их, — тихо сказала Елена. — Всех. После первого марта. Главный. Самый страшный. Его убили.

— Кто?

Елена села на стул. Руки у неё дрожали.

— Свои, — сказала она. — Но не только. Это... Я не понимаю, Эмма. Никто не понимает. Андрей Петрович был у нас в мастерской сегодня. Он говорит... — Она понизила голос до шёпота. — Он говорит, что Судейкина убил Дегаев. Тот, кто был у них главным после Фигнер. А Дегаев, оказывается, давно работал на Судейкина. Он и выдал Фигнер. Он выдавал всех. Два года. Своих. Всех, кого знал. А теперь — испугался, или раскаялся, или не знаю что, — и убил его. Своего хозяина. И сбежал.

Эмма молчала. Она пыталась понять — и не могла. Свой выдавал своих. А потом убил того, кому выдавал. И кто он теперь? Свой? Чужой? Предатель? Герой?

— А Андрей Петрович? — спросила она.

Елена долго не отвечала.

— Он сидел у меня в комнатке за занавеской, — сказала она наконец. — Час. Просто сидел. Ничего не говорил. Потом сказал: «Мы уже не знаем, кто из нас кто, Елена Абрамовна. Кто человек, а кто — оборотень. Я смотрю на товарища и думаю: а не Дегаев ли ты? И он смотрит на меня и думает то же самое. Вот до чего мы дошли». — Она помолчала. — И ушёл. Даже не попрощался.

Ночью Эмма не спала. Она лежала, глядя в темноту, и слушала, как дышит Елена, как сопит Герман, как ворочается за стеной отец. Потом встала, тихо, чтобы никого не разбудить, зажгла огарок свечи и достала свою книжку о королеве Луизе. Вынула из неё обрывок бумаги. Развернула.

«Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник».

Она долго смотрела на эти слова.

Всё, во что верили взрослые, — оказывалось неправдой. Добрый Трепов сёк людей. Добрый царь-батюшка, которому кричала «ура» Глаша, сёк её брата руками своих старшин. Мать

стояла на коленях и называла это милостью. Бог матери отнял ребёнка у Геси Гельфман. И даже они — те, о ком нельзя было говорить вслух, те, кто поднимал платок над каналом, — даже среди них был свой, который выдавал своих.

Ничему нельзя верить на слово. Ничему. Никому. Ни Богу, ни царю, ни генералу, ни отцу. Только тому, что видишь сама. Только тому, что делаешь сама.

Значит, она такая же, как Базаров. Противная. Но правая.

Эмма погасила свечу. В темноте, очень тихо, чтобы не услышала даже Елена, она сказала то слово, которое было нельзя произносить вслух. Сказала про себя самой — в первый раз.

— Я нигилистка.

Слово повисло в темноте и никуда не делось. Никто не пришёл, не схватил её, не высек. Только за окном, во дворе-колодце, шёл снег, и было очень тихо, и где-то далеко, на Неве, ударил колокол.

Ей было четырнадцать лет, и она больше ничему не верила. Это было страшно. И это было похоже на свободу.



Глава 4. Что делать?

1. Урок второй

Книга пришла в январе, в мороз, завёрнутая в старый номер «Нивы» и перевязанная той самой серой бечёвкой, которую Коля когда-то забыл у них на столе. Эмма узнала бечёвку сразу и сразу поняла: это не от Коли. Коля бы отдал из рук в руки, покраснел, заикнулся и долго объяснял. А эту книгу Елена молча положила ей под подушку, пока Эмма мыла посуду, и только вечером, когда легли, шепнула в темноте:

— От Андрея Петровича. Урок второй. Читать ночью. Держать под матрасом. Если отец найдёт — ты её нашла на улице. В мусоре. Поняла?

— Поняла.

— И никому. Даже Коле не говори, что она у тебя. Чем меньше людей знает, тем меньше людей могут сказать.

Это была не совсем книга. Это были четыре журнальные книжки, толстые, в серых обложках, переплетённые вместе грубым картоном, и на корешке не было ничего — ни имени, ни названия. Внутри, на пожелтевших страницах с выцветшим шрифтом: «Современник. Журнал литературный и политический. 1863». А на первой странице романа, над заглавием, кто-то крупным, решительным почерком приписал карандашом: «Читай и думай. Не читай и не думай — будешь как все».

Эмма начала той же ночью.

Она дождалась, пока заснёт Герман, пока затихнет за стеной отцовский храп, пока Елена перестанет ворочаться — Елена, впрочем, не спала, Эмма это знала, но притворялась, и это было как благословение. Тогда она зажгла огарок, прикрыла его ладонью, развернула книгу на коленях и прочла заглавие, которое знала уже два месяца, с похорон Тургенева, но которое теперь, напечатанное, показалось ей вдруг другим:

«Что делать? Из рассказов о новых людях».

Новые люди. Она прочла это дважды. Новые люди. Значит, бывают новые? Не такие, как отец, как мать, как Шапиро, как урядник у конюшни? Новые — это какие?

Первые страницы её разочаровали. Какой-то человек застрелился на мосту, или не застрелился, а только сделал вид, — непонятно; потом автор вдруг обращался прямо к читателю и ругал его, называл «проницательным читателем» и смеялся над ним, и Эмма обиделась, потому что решила, что смеются над ней. Она чуть не закрыла книгу. Но тут началась история Веры Павловны, и Эмма забыла, где она, и сколько времени, и что огарок догорает.

Мать Веры Павловны хотела выдать её замуж. За богатого. За сына хозяйки дома, глупого, наглого офицера, который ей не нравился, — ничего, стерпит. Мать торговалась, хитрила, наряжала дочь, водила её в театр, чтобы жених посмотрел, — как лошадь на ярмарке показывают. И Вера Павловна сидела в театре, в новом платье, купленном на последние деньги, и смотрела на сцену, и думала о том, что её продают.

Эмма читала, и у неё горели щёки. Это была не книга. Это было про неё. Про отца, который произносил слово «замуж», как слово «продажа». Про его разговоры с матерью за стенкой, которые она уже начинала слышать: «Ей скоро пятнадцать», «Пора подумать», «Есть один человек». Она думала, что это только у них, у евреев, в их бедной, тесной, отцовской жизни, — а это, оказывается, было и у русских. У всех. Везде. Дочерей продавали. Везде.

А потом появился Лопухов. Студент-медик, бедный, тихий, который пришёл учить младшего брата Веры Павловны — учитель, как Коля! — и который разговаривал с ней не как с девицей на выданье, а как с человеком. Он давал ей книги. Он говорил ей, что женщина может

жить своей жизнью. И когда стало ясно, что её всё-таки выдадут за офицера, он предложил ей выход: выйти замуж за него. Фиктивно. Не по-настоящему. Чтобы уйти из дома. Чтобы стать свободной. И жить с ним в разных комнатах, как двое друзей, и никогда не входить друг к другу без стука.

Эмма закрыла книгу и посидела в темноте.

Огарок догорел. Она не заметила когда.

Без стука. В разных комнатах. Как двое друзей. Она не знала, что такое бывает. Она думала, что брак — это то, что у отца с матерью: крик за стенкой, мать, у которой дрожат губы, «ты у Трепова на коленях стояла — постоишь и у братьев». А бывает — без стука. Бывает — когда уважают.

Она легла, сунула книгу под матрац и лежала, глядя в потолок, до самого утра. В пять встала, оделась, пошла на фабрику — сорок минут через весь город в темноте, и всё это время в голове у неё звучало одно: «Новые люди. Новые люди. Бывают новые люди».

Она читала книгу шесть недель. По ночам, по двадцать, по тридцать страниц, — больше не позволял огарок, а новый было не взять, мать считала свечи. Она читала, пока глаза не слипались, засыпала с книгой на коленях, и не раз Елена, проснувшись, тихо вынимала у неё из рук книгу и прятала под матрац. Она узнала, что Вера Павловна видела сны. Четыре сна. В первом её выпускали из подвала, где она была заперта, и она шла по полю, и навстречу ей шла какая-то светлая женщина, которая говорила, что она — невеста всех женихов, и сестра всех сестёр, и что зовут её Любовь к людям. Эмма перечитала этот сон три раза. Потом прочла второй, и третий. А четвёртый — тот, где был огромный дворец из стекла и железа, и в нём жили люди, тысячи людей, свободно, без хозяев, работали вместе, ели вместе, пели вместе, и над всем этим было небо, и не было ни нищих, ни генералов, ни урядников, ни розог, — четвёртый сон она прочла, а потом заплакала. Тихо, чтобы никто не слышал. Не от горя. От того, что это было так красиво — и так невозможно.

«Будущее светло и прекрасно, — было написано там. — Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его к себе».

Эмма переписала эти слова на тот же обрывок бумаги, где уже была фраза Базарова. Теперь на обрывке было две фразы. Одна говорила: ничему не верь. Другая — верь в будущее. Они спорили между собой, и Эмма не знала, как их помирить, но обе были правдой, она чувствовала это кожей.

В конце февраля она вернула книгу. Елена завернула её в ту же «Ниву», перевязала той же бечёвкой и унесла. А вечером, укладываясь, сказала тихо:

— Андрей Петрович спрашивал, как тебе.

— А ты что?

— А я сказала, что ты шесть недель ходишь с таким лицом, будто тебе показали дорогу в рай.

— А он?

Елена помолчала.

— А он сказал: «Это хорошо. Только пусть помнит, что рая нет. Есть только дорога».

2. Мастерская

— Шьют? — переспросила Глаша. — Сами себе? Без хозяина?

— Без хозяина, — сказала Эмма. — Вера Павловна сначала была хозяйкой, потому что деньги на мастерскую дала она. А потом она сказала швеям: вот, это всё ваше. Все доходы — ваши. Делите сами. Решайте сами. Сколько работать, кого брать, кого не брать, — всё сами. И они стали жить вместе, в одной большой квартире, и обедать вместе, и учиться по вечерам,

и у них были даже поездки за город по воскресеньям, на лодках. И им платили втрое больше, чем на других фабриках. Потому что хозяина не надо кормить.

Глаша перестала жевать луковицу.

— Втрое, — повторила она. — Это где ж такое?

— В книге.

— А-а, в книге. — Глаша разочарованно махнула рукой. — В книге и я царицей могу быть.

— Нет, правда! — Эмма даже привстала со скамьи. — Это было на самом деле! Мне Коля сказал. После этой книги студенты и курсистки устраивали такие мастерские. В Петербурге. Швейные, переплётные. Знаменская артель была. Не все удались, но были!

— А где они теперь?

Эмма замаялась.

— Закрылись, — сказала она. — Полиция закрыла. Или сами разорились. Или... Коля точно не знает.

— Вот то-то, — сказала Глаша и снова взялась за луковицу.

Но потом, помолчав, спросила совсем другим голосом:

— А обедали, говоришь, вместе? Все?

— Все.

— И учились по вечерам?

— Да. Им читали лекции. Бесплатно. Студенты.

Глаша задумалась, и лицо у неё стало мечтательное, совсем девчоночье.

— Вот бы нам так, — сказала она тихо. — Вот бы, Эммочка. Чтоб без Бауэра. Чтоб без хозяина. Чтоб сами.

— Хозяин всегда найдётся, — сказали у них за спиной.

Двойра стояла позади скамьи, с жестяной кружкой в руке, — пришла за кипятком к общему баку. Она смотрела на них сверху вниз, и лицо у неё было усталое и насмешливое, как у Шапиро.

— Простите, — сказала Эмма. — Мы не...

— Я слышала, — сказала Двойра по-русски, с тяжёлым местечковым выговором. — Мастерская без хозяина. Слыхали мы. — Она села рядом с ними на край скамьи, чего никогда прежде не делала. — В Вильне, когда я была молодая, была такая. Портнихи. Двенадцать девушек. Студент один дал денег. Год работали. Хорошо работали. Дружно.

— И что? — спросила Эмма.

— А то, — сказала Двойра, — что через год одна, самая бойкая, стала главной. Сама. Никто её не выбирал. Она лучше всех шила и лучше всех ругалась. Она стала решать — кому сколько, кого брать, кого гнать. А через два года она была хозяйка. Настоящая. Держала уже свою мастерскую, а те одиннадцать работали у неё. За ту же плату, что везде. — Двойра отпила кипятку. — Хозяин всегда найдётся, детки. Если его нет — он вырастет. Как гриб после дождя. Из своих.

Глаша молчала. Эмма тоже. Ей хотелось возразить, но она не знала как. Она вспомнила Дегаева — своего, который выдавал своих. Хозяин из своих. Предатель из своих. Неужели это закон? Неужели любое — даже самое светлое, даже стеклянный дворец из четвёртого сна — кончается тем, что кто-то становится главным?

— Но ведь можно же следить, — сказала она наконец, неуверенно. — Чтобы никто не стал главным. Чтобы все решали вместе. Всегда.

Двойра посмотрела на неё с жалостью.

— Можно, — сказала она. — Если все такие, как ты. А все — не такие. Все — такие, как я. Устали. Хотят, чтоб кто-нибудь решил за них. — Она встала. — Ешь свой хлеб, девочка. Скоро Бауэр.

Она ушла к своему столу. Эмма смотрела ей вслед.

«Хотят, чтоб кто-нибудь решил за них». Это было, наверное, самое страшное из всего, что она слышала. Страшнее розог. Потому что розги — это снаружи. А это — внутри.

Но через несколько дней случилось одно маленькое дело, которое заставило её думать, что Двойра, может быть, не во всём права.

Глаша пришла на фабрику с красными глазами. В обед она ничего не ела, сидела, уставясь в одну точку. Эмма долго пыталась, и наконец Глаша сказала: опять письмо. Опять недоимки. Если до Пасхи не пришлют четыре рубля, Ваньку снова высекут. И отца, когда вернётся. А отец пьёт. Отец денег не даёт — говорит, сама зарабатываешь, сама и посылай. А у неё — она развела руками — у неё за всё про всё семь рублей в месяц, из них три — вдове за угол, два — на хлеб, а остальное отец отбирает.

— Четыре рубля, — сказала Глаша. — Где я возьму четыре рубля до Пасхи?

Эмма думала весь день. Вечером, по дороге домой, через Николаевский мост, она думала. Ночью думала. А утром, придя на фабрику, она дождалась обеда, встала посреди их стола — восемь девушек, Глаша, Двойра, две финки, полька Ядвига, ещё три русские, — и сказала, громко, краснея:

— Девушки. У Глаши беда.

Все замолчали. Глаша посмотрела на неё с ужасом.

— Эммочка, ты чего...

— Её брата высекут, если до Пасхи не будет четырёх рублей. За недоимки. Ему шестнадцать лет. Его уже секли один раз. — Эмма перевела дыхание. Голос у неё дрожал, но она продолжала. — Я подумала. Нас за столом восемь. Если каждая будет класть по копейке в день — через месяц будет два рубля сорок. А если по две копейки — почти пять. Это немного. Это меньше, чем мы тратим на кипяток. Но это — четыре рубля для Глаши. И Ваньку не высекут.

Тишина. Все смотрели на неё. Эмме хотелось провалиться сквозь пол.

Потом рыжая финка Хильма, которая почти не говорила по-русски, сказала:

— Да.

И положила на стол две копейки.

За ней — Ядвига. Потом русские. Потом вторая финка. Потом все посмотрели на Двойру.

Двойра долго молчала. Потом полезла в карман, достала узелок, развязала и положила на стол — не две копейки, а пятак.

— Это не мастерская, — сказала она, не глядя на Эмму. — И не стеклянный дворец. Это просто — у человека беда. Это и в местечке бывает. Без всяких книг.

Глаша закрыла лицо руками и заплакала.

Деньги собирали в Глашин платок, по копейке, по две, каждый день. Эмма вела счёт — углём на изнанке бракованной перчатки, как когда-то писала буквы. Через неделю к их столу подошли из соседнего: а нам можно? Через две — с конца цеха. Скоро в платке было уже три рубля, потом пять.

На третьей неделе за спиной у Эммы, когда она пересчитывала медяки, вдруг выросла длинная чёрная тень.

Герр Бауэр.

Он стоял позади неё, заложив руки за спину, в своём неизменном сюртуке, и смотрел на платок с медяками. Вокруг стало так тихо, что было слышно, как тикают часы над дверью конторы. Эмма замерла. Она знала: сборы на фабрике запрещены. Любые. За сборы штрафовали. За сборы, говорили, на других фабриках выгоняли, а то и звали полицию, потому что сборы — это значит сговор, а сговор — это значит забастовка, а забастовка — это значит бунт.

Герр Бауэр стоял минуту. Две. Эмма не смела обернуться. Она смотрела на медяки в платке и думала: всё. Сейчас.

Потом за её плечом протянулась сухая старческая рука с седыми волосками на пальцах. И положила в платок серебряный гривенник.

Рука исчезла. Шаги удалились в сторону конторы. Хлопнула дверь.

Никто не сказал ни слова. Только Глаша, сидевшая напротив, вдруг тихо, совсем тихо засмеялась сквозь слёзы. А Двойра покачала головой и сказала по-немецки, ни к кому не обращаясь:

— На ја. Бывают и такие хозяева. Редко. Но бывают.

Шесть рублей восемьдесят копеек Глаша отправила в деревню в Страстную субботу. Ваньку не высекли.

А через неделю после Пасхи, в апреле, Коля пришёл на урок мрачный и положил на стол газету.

— Закрыли, — сказал он. — «Отечественные записки». Навсегда. Распоряжением министра. Салтыков... Салтыков-Щедрин... Двадцать лет журналу. Некрасов там... Всё. Нет больше.

Эмма посмотрела на газету. И вспомнила, как на похоронах Тургенева, под дождём, Северцев сказал, усмехаясь: «Пока их не закрыли, а закроют, помяните моё слово».

— Андрей Петрович говорил, — сказала она. — Он знал.

— Все знали, — вздохнул Коля. — Все знали — и все надеялись, что нет. — Он снял очки, протёр их. — Знаете, Эмма Абрамовна, что самое страшное? Что никто даже не протестует. Никто. Закрыли — и всё. Будто так и надо. Будто мы все уже привыкли.

— «Хотят, чтоб кто-нибудь решил за них», — сказала Эмма.

Коля посмотрел на неё удивлённо.

— Кто это сказал?

— Одна женщина на фабрике.

— Умная женщина, — сказал Коля и надел очки. — Жаль, что права.

3. Сходка

— Только ни слова отцу, — в десятый раз повторила Елена, поправляя на Эмме платок. — Мы идём к Клейнмихелям на именины. Слышишь? К Клейнмихелям.

— Слышу. Клейнмихели. Именины. У мадам Клейнмихель, хотя у неё в мае никаких именин нет.

— Отец не знает, когда у мадам Клейнмихель именины.

— Отец вообще не знает, кто такая мадам Клейнмихель.

— Вот и хорошо, — сказала Елена и вдруг улыбнулась. — Эмма, ты понимаешь, что мы делаем?

— Понимаю.

— Если будет облава — бежать. Не ждать меня. Не геройствовать. Бежать домой. Обещай.

— Обещаю.

Они вышли в седьмом часу. Был май, тёплый вечер, и город уже начинал светлеть по ночам — белые ночи подходили. Коля ждал их на углу Восьмой линии, переминаясь с ноги на ногу, в новой фуражке, которая была ему велика и сползала на уши. Увидев их, он просиял.

— Пришли! Я думал — не отпустят.

— Нас отпустили к Клейнмихелям, — сказала Эмма.

Коля не понял, но засмеялся.

Квартира была на пятом этаже, под самой крышей, — студенческая, на четверых, две комнаты, кухня и чулан. Поднимаясь по тёмной, вонючей лестнице, мимо дверей, из-за которых доносились крики детей, пьяная ругань, звон посуды, Эмма слышала сверху гитару и смех. Коля постучал условно: два раза, пауза, один. Дверь открыла коротко стриженная девушка в

мужской косоворотке, с папиросой в зубах, — курсистка, догадалась Эмма, она слышала про таких: остригали волосы, курили, носили синие очки, — посмотрела на них, на Колю, кивнула и впустила.

Внутри было дымно, тесно, жарко. В большей комнате, где на стене висел портрет какого-то бородатого человека в очках — Эмма потом узнала, что это Чернышевский, — собралось человек двадцать. Сидели на кроватях, на подоконнике, на полу, на сундуке. На столе кипел огромный медный самовар, стояли стаканы без блюдец, лежала чёрная колбаса, нарезанная толстыми ломтями, и хлеб. Кто-то играл на гитаре в углу. Кто-то спорил у окна. Кто-то читал вслух. Курили все — даже девушки. Даже одна совсем молоденькая, в гимназическом платье, которая, кажется, курила первый раз в жизни и кашляла.

Эмма стояла в дверях, вцепившись в руку Елены, и не могла пошевелиться.

Это были новые люди. Она видела их. Они были здесь, во плоти, в дыму, с колбасой и гитарой. Девушки с короткими волосами, которые говорили с мужчинами на равных, перебывали их, смеялись над ними. Мужчины, которые подливали девушкам чай и не смотрели на них так, как смотрят на работниц офицеры на Невском. Студенты в потёртых тужурках, бородатые, безбородые, очкастые, в косоворотках, — все говорили, все спорили, все курили, и никто никого не боялся.

— Ну, что встали? — Коротко стриженная курсистка сунула Эмме стакан с чаем. — Садитесь. Вы чья будете?

— Я... Эмма. Сестра. Елены.

— А, ретушёра, — кивнула курсистка и посмотрела на Елену с уважением. — Знаем. — И, обернувшись к Эмме: — А вы на фабрике, говорят?

— Да. На перчаточной.

— Работница! — Курсистка вдруг обрадовалась так, будто Эмма сказала, что она принцесса. — Господа! Господа, у нас работница! Настоящая!

Несколько человек обернулись. Эмма покраснела до ушей.

— Не пугайте её, Соня, — сказал знакомый голос.

Северцев сидел на подоконнике, свесив длинные ноги, со стаканом в руке. Он похудел ещё больше, если это было возможно, и лицо у него стало совсем острым, но глаза были живые, и в углу рта сидела знакомая усмешка.

— Нигилистка, — сказал он. — Добро пожаловать в преисподнюю. Как вам урок второй?

— Будущее светло и прекрасно, — сказала Эмма.

— А-а, — Северцев улыбнулся. — Четвёртый сон. Все на нём попадают. Я сам на нём попался, в шестнадцать лет. Садитесь, сейчас будет интересно. Сейчас мы будем решать, что делать.

— Опять? — сказал кто-то. — Мы это решаем третий год.

— И будем решать ещё тридцать, — сказал Северцев. — Это и есть русская интеллигенция, Вадим. Вечно решать, что делать, и никогда этого не делать.

Спор начался не сразу, а как будто сам собой — из случайной фразы, из чьего-то вопроса, — и через полчаса в комнате уже кричали все. Эмма сидела на сундуке рядом с Еленой и Колей, держала в руках остывший чай и вертела головой то в одну, то в другую сторону, боясь пропустить хоть слово. Она понимала не всё. Многие слова были незнакомые, иностранные, — «конституция», «прибавочная стоимость», «пролетариат», «непротивление». Но она понимала главное: что здесь, в этой дымной комнате, четыре человека — четыре совсем разных человека — спорят о том же самом, о чём она думала по ночам. Что делать?

Первым говорил Северцев. Он говорил негромко, не слезая с подоконника, и все слушали, потому что он, видимо, был здесь кем-то вроде старшего.

— Наш путь вы знаете, — сказал он. — «Народная воля». Заговор. Удар в центр. Мы не можем ждать, пока мужик прочтёт Некрасова. Самодержавие держится на одном человеке

и десятке его слуг. Убери их — и всё рухнет. Мы это попробовали. — Он помолчал. — Не вышло. Но это не значит, что путь неверен. Это значит, что нас было мало. И что среди нас были Дегаевы. Надо — больше. Надо — чище. Надо — снова.

— Снова царя? — спросил кто-то.

— Снова — всё, что понадобится.

Кто-то в углу присвистнул. Кто-то зашикал. Эмма видела, как Коля рядом с ней сжался.

Потом встал молодой человек в очках — не таких толстых, как у Коли, а тонких, в золотой оправе, — худой, чисто выбритый, в аккуратном сюртуке, совсем не похожий на других. Он держал в руках тонкую брошюру, отпечатанную на серой бумаге.

— Простите, Андрей Петрович, — сказал он вежливо, — но вы ошибаетесь. Все вы ошибаетесь. И народники, и народовольцы. Вы всё ищете революцию в деревне. А мужик — не революционер. Мужик — собственник. Дайте ему землю — и он станет кулаком и будет сечь своих батраков не хуже барина. — Он поднял брошюру. — Вот. Плеханов. «Социализм и политическая борьба». Из Женевы. Читали?

— Читали, — устало сказал Северцев. — Перебежчик.

— Не перебежчик, а человек, который думает. Плеханов говорит: будущее не за мужиком, а за рабочим. За фабричным. Россия становится капиталистической страной — хотим мы этого или нет. Скоро будут миллионы рабочих. И они-то, — он стукнул брошюрой по ладони, — они-то и сделают революцию. Не бомбами. Не заговором. А классовой борьбой. Организацией. И сначала — политическая свобода. Конституция. Чтобы рабочие могли организоваться. А потом — социализм.

— Через сто лет, — сказал кто-то.

— Через столько, сколько понадобится, — сказал молодой человек в золотых очках. — История не спешит.

— А мы спешим, — сказал Северцев.

— Потому вы и проигрываете.

И тут, к удивлению Эммы, молодой человек в золотых очках повернулся к ней.

— Вот, — сказал он. — Вот у нас работница. Скажите, барышня, как вы думаете: ваши товарки на фабрике — они готовы к борьбе? К организации?

Все посмотрели на Эмму. У неё пересохло во рту.

— Я... не знаю, — сказала она. — Мы собрали деньги. Глаше. Чтобы брата не высекли. Всем цехом. По копейке.

Наступила тишина. Потом молодой человек в золотых очках медленно улыбнулся.

— Вот, — сказал он торжествующе. — Слышите? Стихийная солидарность. Это и есть зародыш. Это и есть начало классового сознания.

— Это просто доброта, — сказал кто-то с пола.

Говоривший сидел, скрестив ноги, на полу у печки. Эмма раньше его не замечала. Он был огромный, бородатый, в холщовой косоворотке, подпоясанной верёвкой, и в лаптях — в настоящих лаптях, в петербургской квартире! — и лицо у него было широкое, светлое и спокойное, как у иконы.

— Доброта, — повторил он мягко. — Не классовое сознание, не зародыш. Просто — доброта. Человеческая. Бог в человеке. Вот что делать — быть добрым. Вот и всё.

— Толстовец, — шепнул Коля Эмме на ухо. — Филипп. Он из графского имения ушёл, землю пашет. У него и брат там.

— Граф Толстой, — продолжал Филипп так же мягко, — написал книгу. «В чём моя вера». Её запретили, конечно. Но её читают. Там сказано: не противься злу насилием. Не убивай. Не суди. Не клянись. Не служи государству. Не бери ружья. Отдай всё, живи трудом, люби ближнего. Если все так будут жить — не будет ни царей, ни урядников, ни розог. Не потому,

что их убьют, а потому, что им некого будет сечь. Никто не пойдёт в урядники. Никто не возьмёт розгу.

— А пока все не стали так жить? — резко спросил Северцев. — Пока урядник сечёт — что? Подставлять другую спину?

— Да, — просто сказал Филипп.

Северцев засмеялся — коротко, зло.

— Вот вам, господа, весь цвет русской мысли. Одни говорят: убей. Другие: подожди сто лет. Третьи: подставь спину.

— А вы забыли четвёртых, — сказал ещё один голос.

Это был немолодой уже человек, лет тридцати пяти, в хорошем сюртуке, с аккуратной бородкой и золотой цепочкой от часов, — непонятно, как он сюда попал. Он сидел у стола и пил чай из стакана в серебряном подстаканнике, который, видимо, принёс с собой.

— Четвёртые говорят: делайте дело, — сказал он спокойно. — Маленькое, но настоящее. Земство. Школы. Больницы. Земские врачи, земские учителя. Агрономы. Медленно. Терпеливо. Без бомб. А когда общество окрепнет — потребовать конституцию. Законно. Через петиции. Через адреса государю. Как в Англии. Как в Европе.

— Петиции, — сказал Северцев с отвращением. — Адреса. Как в Англии. Мы не в Англии, Пётр Ильич. Нас за петиции — в Сибирь.

— Не всех, — сказал Пётр Ильич. — Только тех, кто кидает бомбы. А нас — пока нет.

— Пока, — сказал Северцев.

И они опять заспорили — все четверо сразу, перебивая друг друга, а вокруг них спорили остальные, и в комнате стоял такой гул, что Эмма уже не различала слов.

Она сидела на сундуке и думала. Ей нравился Северцев — его смелость, его горечь, его «надо снова». Но ей становилось холодно, когда он говорил «всё, что понадобится». Ей нравился молодой человек в золотых очках — он сказал, что её копейки — это «начало», и ей было приятно, — но ей не нравилось его «история не спешит», будто Глашин Ванька должен был ждать сто лет. Ей нравился Филипп в лаптях, его спокойное лицо, его доброта. Но подставлять спину уряднику? Ей вспомнился крестьянин у конюшни в Попелянах — разве он не подставлял? Подставлял. Испокон веку. И что? И Пётр Ильич с его подстаканником был умный, и, может быть, прав, но от его «законно» и «постепенно» Эмме хотелось зевать.

В каждом было что-то. Целиком — никто.

— Ну что, нигилистка? — Северцев вдруг оказался рядом, присел на край сундука. — Кого выбираете?

— Никого, — честно сказала Эмма.

— Почему?

— Потому что вы все говорите, что делать другим. Мужикам. Рабочим. Царю. А никто не говорит, что делать вам самим. Здесь. Сейчас.

Северцев посмотрел на неё долгим взглядом.

— А вы знаете? — спросил он.

— Нет. Но я знаю, что сделала Вера Павловна. Она ушла из дома. Сама. Не ждала, пока все станут добрыми, или пока рабочих будет миллион. Просто ушла и стала жить по-другому. Сразу.

— Это легко для одного человека, — сказал Северцев. — А как быть со всеми?

— Не знаю, — сказала Эмма. — Может, начать с одного? А потом ещё один. А потом... В дверь постучали.

Не условным стуком — два, пауза, один. Громко. Тяжело. Три раза. Потом снова.

— Именем закона! Откройте!

В комнате стало тихо так мгновенно, будто кто-то перерезал нить. Гитара оборвалась на середине аккорда. И в этой тишине Эмма услышала, как кто-то — кажется, коротко стриженная Соня — прошипел:

— Свет!

Лампу задули. Комната погрузилась в полумрак — белая ночь ещё не наступила, за окном стоял серый сумеречный свет. И сразу всё задвигалось, зашуршало, затопало. Кто-то бросал в печку бумаги, и они вспыхивали, освещая на миг искажённые лица. Кто-то совал за пазуху книги. Молодой человек в золотых очках засовывал свою брошюру в самовар.

— Чёрный ход! — крикнул Северцев. — Через кухню! Девушки первые!

В дверь колотили уже не кулаками, а чем-то тяжёлым. Дверь трещала.

Елена схватила Эмму за руку и потащила. Кухня, тесная, тёмная, пахнувшая щами. Вторая дверь — на чёрную лестницу. Кто-то уже распахнул её. Узкие каменные ступени уходили вниз, в темноту, и по ним уже бежали — топот, шорох, приглушённые голоса.

— Беги! — крикнула Елена. — Не жди меня!

— Елена!..

— Беги, я сказала!

Эмма побежала.

Лестница была крутая, тёмная, вонючая — пахло кошками, помоями, сыростью. Ступени скользкие. Эмма бежала, держась рукой за холодную стену, и сзади слышала топот, крики, звон разбитого стекла. Четвёртый этаж. Третий. На втором кто-то налетел на неё сзади, чуть не сбил с ног, извинился и пронёсся мимо. Первый. Дверь во двор. Двор — узкий, тёмный, заставленный дровами. Где-то наверху свистел полицейский свисток.

— Сюда! — Чья-то рука схватила её за локоть. Коля. Без фуражки, очки набекрень. — Через подворотню! На Седьмую линию!

Они бежали. Через двор, через подворотню, через второй двор, через какую-то калитку, через третий двор, где на верёвках висело бельё, и Эмма запуталась в мокрой простыне и чуть не упала, и Коля дёрнул её, и она вырвалась, оставив что-то на верёвке, — и они выскочили на улицу, на Седьмую линию, и остановились, задышавшись, под фонарём.

Улица была пуста. Тихо. Только где-то далеко, за домами, всё ещё свистели свистки.

— Елена, — выдохнула Эмма. — Где Елена?

— Она шла за мной, — сказал Коля. — Я видел. Она с Соней свернула в другую подворотню. Они выйдут на Шестую. Там близко до набережной.

— А Андрей Петрович?

Коля не ответил. Он смотрел назад, туда, откуда они прибежали.

— Он остался, — сказал он наконец. — Последний. Чтобы закрыть чёрный ход. Чтобы все успели.

Они стояли под фонарём. Эмма тяжело дышала. Сердце колотилось так, что болело в груди. И вдруг она заметила, что ей холодно — шее холодно.

Шарф. Серый шарф Елены, который Елена дала ей в первый день, на Неве, — «а то ты похожа на беглую сироту», — шарф, который Эмма носила два года, не снимая, всю зиму, все переходы через лёд по сорока двум ёлочкам, — его не было. Он остался на верёвке с бельём. Или на лестнице. Или в той комнате.

— Шарф, — сказала она. — Я потеряла шарф.

— Какой шарф? — не понял Коля.

— Еленин.

И вдруг она заплакала — впервые за весь этот вечер, впервые за весь этот страх. Не от страха. От шарфа. От того, что он остался там, в темноте, среди свистков.

Коля растерянно смотрел на неё. Потом неловко, совсем по-мальчишески, похлопал её по плечу.

— Ничего, — сказал он. — Ничего, Эмма Абрамовна. Найдётся. Шарфы всегда находятся.

И тут из-за угла вышли двое городских.

— Эй! Вы двое! Стоять!

Коля толкнул Эмму в сторону, в тёмную подворотню.

— Беги! — шепнул он. — Домой! Я их отвлеку!

— Коля!..

— Беги!

Она побежала. Сзади слышала, как Коля громко, нарочито громко заговорил с городскими, заикаясь сильнее обычного: «Г-господа, я студент, я шёл от т-товарища, я ничего не знаю...» Потом голоса стихли.

Она бежала до самой набережной. Потом шла — через Николаевский мост, мимо Адмиралтейства, по пустому Невскому, — одна, без шарфа, в белой майской ночи, которая ещё не стала белой, но уже не была тёмной. Ей было холодно. Ей было страшно. Ей было стыдно, что она бежала, а Коля остался. А Северцев остался. А Елена неизвестно где.

Елена пришла домой через полчаса после неё. Бледная, растрёпанная, с порванным подолом. Она вошла, увидела Эмму у окна, и они бросились друг к другу и обнялись, и стояли так, не говоря ни слова, посреди тёмной комнаты, пока за стеной не заворочался отец.

Колю отпустили утром. С предупреждением. В участке его продержали всю ночь, допрашивали, записали в книгу. «Ещё раз — исключение из университета и высылка», — сказали ему. Он пришёл на урок в воскресенье с синяком под глазом — ударили, когда упирался, — и с таким гордым видом, будто получил орден.

— Зато все ушли, — сказал он. — Почти все. Взяли только троих. И Андрей Петрович ушёл. Через крышу. Говорят, по крышам три квартала прошёл, как кошка. — Он засмеялся, но тут же поморщился от боли. — Вот что значит химик. Знает законы равновесия.

Про шарф он ничего не знал.

4. Фаршированная рыба

В июне Эмме исполнилось пятнадцать, и отец сказал, что пора.

Он сказал это не ей — матери. Вечером, за стенкой, думая, что дети спят. Эмма не спала. Она теперь вообще мало спала — белые ночи, и мысли, и книги, которые Коля тайком приносил ей под видом грамматических пособий.

— Пятнадцать, — сказал отец. — Пора. В её годы ты уже была замужем.

— Я была замужем в семнадцать, — сказала мать. — И ты знаешь, что из этого вышло.

— Тот был больной. Это не в счёт. — Отец помолчал. — Есть человек. Сваха говорит — хороший. Вдовец, тридцать восемь лет, детей нет. Лавка на Садовой — москательная. Своя. Дом в Коломне, деревянный, двухэтажный. Капитал. Не пьёт.

— Тридцать восемь, — повторила мать. — А ей пятнадцать.

— Зато обеспечена будет. Не то что мы. Не будет по фабрикам шляться, по ночам книжки читать. — Он понизил голос, и Эмма услышала в нём что-то, похожее на страх. — Ты видишь, какая она стала? Ты видишь, Таубе? С фабрики приходит — молчит. Ночью свечи жжёт. Смотрит на меня — будто я ей должен. Студент этот к ней ходит. Елена её таскает неизвестно куда. Я не слепой. Не дурак. Ты знаешь, что сейчас с такими делают? С девицами, которые с нигилистами связались? Ты помнишь Гельфман?

Мать долго молчала.

— Помню, — сказала она наконец.

— Вот. Выдать её — и делу конец. Муж её научит. Дети пойдут — некогда будет книжки читать.

Эмма лежала, глядя в потолок, и не дышала. Тридцать восемь лет. Москательная лавка на Садовой — это где краски, олифа, скипидар, мыло. Дом в Коломне. Вдовец. Она никогда его не видела. Она даже имени его не знала.

Её продавали. Как Веру Павловну. Только у Веры Павловны был Лопухов, а у неё — никого.

Через три дня, в воскресенье, отец объявил за обедом:

— В четверг придёт сваха. С господином Рабиновичем. Посмотреть. Наденешь синее платье. Причешешься как следует. Будешь молчать и улыбаться. Поняла?

Эмма положила ложку.

— Нет, — сказала она.

Отец не сразу понял.

— Что — нет?

— Нет. Я не выйду замуж за господина Рабиновича.

Мать перестала есть. Герман замер с открытым ртом. Елена побледнела.

— Ты, — медленно сказал отец, — ты, кажется, не поняла. Я тебя не спрашиваю.

— А я тебе отвечаю, — сказала Эмма. Голос у неё дрожал, но она смотрела отцу прямо в глаза. — Я не выйду замуж. Ни за Рабиновича, ни за кого. Я хочу учиться.

— Учиться? — Отец даже засмеялся от изумления. — Чему учиться? Ты уже грамотная. Ты читаешь, пишешь, считаешь. Чему ещё?

— Всему, — сказала Эмма. — Я хочу в гимназию. Потом в университет. Я хочу стать врачом.

Тишина. Даже Егор, которому было уже семь, перестал болтать ногами под столом.

— Врачом, — повторил отец. Медленно, будто пробуя слово на зуб. — Врачом. Ты. Жидовская девка с фабрики. Врачом.

— Женщины бывают врачами! Есть врачебные курсы! В Петербурге есть! Коля говорит...

— Коля говорит! — Отец ударил кулаком по столу так, что подпрыгнули тарелки. — Коля! Я так и знал! Я знал, что этот очкарик... — Он вскочил, опрокинув стул. — Я тебе покажу врачей! Я тебе покажу курсы!

Он бросился в соседнюю комнату. Эмма услышала, как он роется на полке над её кроватью, где стояли её книги — немного, пять или шесть, всё, что у неё было: хрестоматия, Буслаев, Некрасов, которого Коля ей так и не забрал, королева Луиза, французская грамматика, которую она купила на собственные деньги — на те, что тайком откладывала по копейке с мелочи, которую ей давали на кипяток. Два года откладывала.

Отец вернулся с грамматикой в руке.

— Вот, — сказал он. — Вот твоё учение. Французский. На кой чёрт тебе французский? С кем ты будешь по-французски говорить? С Рабиновичем?

— Отдай!

Эмма вскочила. Но отец уже подошёл к печке — она топилась, несмотря на июнь, мать варила обед, — открыл заслонку и швырнул книгу в огонь.

— Нет! — закричала Эмма.

Она бросилась к печке. Отец перехватил её за руку, рванул назад. Сквозь открытую заслонку она видела, как обложка вспыхнула, скрутилась, как начали чернеть и загибаться страницы. «Je suis, tu es, il est...» — горели спряжения. Горели два года копеек.

— Слушай меня, — сказал отец, не отпуская её руки. Лицо его было красным, глаза — бешеными. — Слушай и запомни. Еврейской дочери не нужно много знать. Ей нужно уметь фаршировать рыбу. Резать лапшу тонко. И рожать мужу детей. Много детей. Всё. Остальное — от дьявола. Ты поняла меня?

Эмма смотрела на него. Огонь в печке горел, и в нём горела её грамматика, и отец держал её за руку так, что останутся синяки, и вдруг она перестала бояться. Совсем. Будто страх сгорел вместе с книгой.

— Женщина, — сказала она, медленно, отчётливо, глядя ему в глаза, — женщина имеет такое же право на свою жизнь, как мужчина. Никто не может распоряжаться ею. Ни отец, ни муж. Никто.

Она не знала, откуда взялись эти слова. Может быть, из Чернышевского. Может быть, от Сони с короткими волосами. Может быть, из неё самой.

Отец ударил её.

Наотмашь, ладонью, по лицу. Так, что голова мотнулась в сторону и в ушах зазвенело. Эмма отлетела к стене. Ударилась плечом. Устояла.

Мать вскочила, но не двинулась с места. Только прижала руки к груди. Герман заплакал. Егор полез под стол.

И тогда встала Елена.

Она встала медленно, отодвинула стул и пошла через комнату — не к Эмме, а к отцу. Встала между ними. Прямо, высокая, бледная, с дрожащими губами, но с таким лицом, какого Эмма у неё никогда не видела.

— Хватит, — сказала Елена.

Отец посмотрел на неё.

— Отойди.

— Нет, — сказала Елена. — Не отойду. Вы её не тронете больше. Никогда. А если тронете — я уйду из дома. Завтра же. И деньги мои уйдут со мной. Все. Вы знаете, сколько я приношу. Без меня вы и месяца не продержитесь.

Отец открыл рот. Закрыл. Лицо его медленно меняло цвет — с красного на белый.

— Ты... мне... угрожаешь?

— Да, — сказала Елена. — Угрожаю.

Долгая, страшная тишина. Только треск огня в печке, где догорала грамматика.

Потом отец повернулся и вышел. Хлопнула дверь. Его шаги прогрохотали по лестнице.

Мать опустилась на стул и закрыла лицо руками.

Елена повернулась к Эмме. Посмотрела на её щёку, на которой уже проступал красный след. Ничего не сказала. Только взяла её за руку и повела в другую комнату, и посадила на кровать, и намочила полотенце в холодной воде, и приложила к щеке.

— Елена, — прошептала Эмма. — Ты правда уйдёшь?

— Если понадобится, — сказала Елена. — Да.

— А куда?

Елена помолчала.

— Не знаю. Куда-нибудь. — Она отняла полотенце, снова намочила, снова приложила. — Не думай об этом. Сватовство я отложу. Скажу свахе, что ты больна. Что у тебя горячка. Это даст нам время.

— А потом?

— Потом — посмотрим.

Сваха в четверг не пришла. Отец два дня не разговаривал ни с кем. Потом — заговорил, будто ничего не случилось. Но Эмма знала: ничего не кончилось. Только отложено. Господин Рабинович с москательной лавкой на Садовой ждал. Тридцать восемь лет. Дом в Коломне.

Ночью она лежала без сна и думала. Щека болела. Плечо болело. Но больше всего болело другое — пустое место на полке над кроватью, где стояла французская грамматика.

«Je suis, — повторяла она про себя, в темноте, единственное, что успела выучить наизусть. — Je suis, tu es, il est. Я есть. Ты есть. Он есть».

Я — есть.

Она поклялась себе в эту ночь — серьёзно, торжественно, как дают присягу, — что выйдет замуж только по любви. Только за того, кого выберет сама. Или никогда. Никогда, ни за что, ни за какую москательную лавку.

Я — есть. И никто меня не купит.

5. Литовец

В июле, когда белые ночи пошли на убыль и в полночь уже снова стало темнеть, Эмма проснулась от того, что Елена плакала.

Плакала тихо, в подушку, почти беззвучно. Но Эмма знала все звуки Елениного дыхания, как знала звуки собственного, и эти были чужие, новые. Она лежала и слушала. Потом встала, босиком прошла через комнату и села на край Елениной кровати.

— Елена.

Плач затих.

— Спи, — глухо сказала Елена в подушку.

— Не буду.

Елена медленно повернулась. В слабом предрассветном свете её лицо было мокрым и опухшим.

— Что случилось? — спросила Эмма. — Отец?

— Нет. — Елена села, обхватила колени руками. — Нет. Не отец. Это я так. Старое.

— Расскажи.

— Это было, когда ты жила в Кёнигсберге, у Бабушки. Ты была маленькая.

— Я уже не маленькая. Мне пятнадцать. Меня сватают.

Елена посмотрела на неё и вдруг слабо улыбнулась.

— Да. Тебя сватают. — Она помолчала. — Ладно. Может, и надо тебе рассказать. Именно теперь.

Она долго молчала, глядя в окно, на тёмный двор-колодец.

— Мне было восемнадцать, — начала она наконец. — Почти девятнадцать. — Мы с отцом тогда ещё держали двор в Попелянах. Ты помнишь Попеляны?

— Немного.

— У отца был постоянный двор. И там часто останавливались проезжие. И однажды осенью, в дождь, остановился один молодой человек. Литовец. Землемер. Он межевал там землю у помещика, по реке. Его звали... — Елена запнулась. — Неважно, как его звали. Его звали Юозас. Ему было двадцать два. Он прожил у нас два месяца, пока межевал.

Эмма молчала.

— Он был совсем не такой, как все, кого я знала, — продолжала Елена. — Тихий. Добрый. Он читал. У него с собой были книги — польские, литовские, русские. Он давал мне. Он рассказывал мне про Литву — какая она была когда-то, великая, свободная, до того, как пришли русские. Он пел литовские песни. У него был голос... — Елена закрыла глаза. — Мы гуляли по берегу. Просто гуляли. Говорили. Он говорил со мной, как с человеком. Не как с девицей. Не как с еврейкой. Как с человеком. Ты понимаешь?

— Понимаю, — прошептала Эмма. Она понимала. Это было как Лопухов. Как Коля. Как «вы — не иностранка».

— Он сказал мне, что любит меня, — сказала Елена. — В последний день. Перед отъездом. На берегу. Он сказал: поедem со мной. В Ковно. Я крещусь — нет, ты не крестись, я сам перейду в твою веру, если надо, или мы уедem за границу, в Америку, где никто не спрашивает. Что угодно. Только поедem.

Она замолчала.

— А ты? — спросила Эмма.

— А я сказала маме, — сказала Елена. — Я думала — мама поймёт. Мама ведь сама... мама ведь сама когда-то... — Она покачала головой. — А мама пошла к отцу. И отец... Ты знаешь, что сделал отец.

— Что?

— Он его выгнал. Ночью. Под дождём. С криком, с проклятиями. Он сказал, что если я ещё раз взгляну на гоя, он меня убьёт. Что лучше видеть меня мёртвой, чем женой иноверца. Мама плакала и говорила то же самое. Бабушка приехала из Кёнигсберга и говорила то же самое. Все говорили то же самое. Что это позор. Что это смерть для семьи. Что ни одна приличная еврейская семья после этого не возьмёт ни меня, ни Лену. Что я погублю сестёр. Что я убью мать.

— И ты...

— Я послушалась, — сказала Елена. — Я не поехала. Он ждал меня неделю в Ковно, в гостинице. Писал. Я не ответила. Потом он уехал. Куда — не знаю. Больше я его не видела. Никогда.

Она снова закрыла глаза.

— Пять лет назад, — сказала она. — Пять лет. И знаешь, что самое страшное, Эмма? Не то, что я его потеряла. А то, что с тех пор я живу чужую жизнь. Не свою. Я работаю, я приношу деньги, я защищаю тебя, я хожу в синагогу с мамой, я ретуширую чужие лица, — но это всё не я. Это кто-то другой. А я — я осталась там, на берегу, в Попелянах. В тот день. Когда он сказал «поедем». И я до сих пор там стою. И не могу уйти.

Эмма сидела не шевелясь. Ей хотелось обнять Елену, но она боялась — боялась спугнуть что-то, что было сейчас между ними, хрупкое, как первый лёд.

— Почему ты плакала сегодня? — спросила она тихо.

Елена долго не отвечала.

— Потому что сегодня отец опять говорил про Рабиновича, — сказала она наконец. — Ты не слышала, ты спала. А я слышала. И я подумала: вот, сейчас они сделают с тобой то же, что со мной. И ты тоже будешь стоять где-то на берегу всю жизнь. И мне стало так... — Она не договорила.

Тогда Эмма обняла её. Крепко. Изо всех сил.

— Не будет, — сказала она Елене в волосы. — Слышишь? Не будет. Со мной — не будет. Я не послушаюсь. Ни отца, ни маму, ни Бабушку, ни Бога, ни царя. Никого. Я буду жить свою жизнь. Свою. Слышишь?

— Слышу, — прошептала Елена.

— И ты тоже, — сказала Эмма. — Ты тоже можешь ещё.

Елена тихо засмеялась сквозь слёзы.

— Мне двадцать три. Я старая дева.

— Ты — моя сестра, — сказала Эмма, и вдруг вспомнила, что точно так, слово в слово, Елена сказала ей когда-то на Невском. — А это совсем другое.

Они сидели обнявшись, пока за окном не рассвело.

В августе вышел новый университетский устав.

Коля пришёл с ним, как с похоронной вестью. Сел за стол, положил газету, долго молчал.

— Всё, — сказал он. — Конец. Автономии больше нет. Ректоров теперь назначает министр. Профессоров — министр. Инспектор — над студентами, как надзиратель. Форма — обязательная, как у гимназистов. Сходки — запрещены. Кружки — запрещены. Землячества, кассы взаимопомощи — всё запрещено. Мы теперь — не студенты. Мы — арестанты, которым разрешено ходить на лекции.

— Что же будет? — спросила Эмма.

— Будет тишина, — сказал Коля. — Как на кладбище. Они этого и хотят. — Он снял очки, протёр. Руки у него дрожали. — Знаете, что самое смешное? Я ведь всегда был за то,

чтобы учить. Не взрывать — учить. Буквы, книги, школы. А теперь — что? Теперь учить тоже нельзя. Теперь — ничего нельзя. И я думаю... — Он надел очки и посмотрел на Эмму, и в его глазах она увидела то, чего никогда раньше не видела, — усталость. Как у Северцева. — Я думаю: может, Андрей Петрович был прав? Может, с ними действительно нельзя по-другому?

Эмма ничего не ответила. Она не знала ответа.

А через неделю, в конце августа, в мастерскую к Елене пришёл Северцев.

Эмма была там — Елена взяла её, чтобы помочь разобрать старые негативы, — и когда звякнул колокольчик и он вошёл, она его сначала не узнала. Он был в чужом пальто — хорошем, драповом, — в котелке, с тростью. Волосы коротко острижены. Бородка, которой раньше не было. Он был похож на молодого чиновника или на приказчика из хорошей лавки. Только глаза были те же — серые, усталые — и знакомая усмешка в углу рта.

— Елена Абрамовна, — сказал он. — Нигилистка. Я на минуту.

— Андрей Петрович, — сказала Елена тихо, — вас ищут?

— Пока нет, — сказал он. — Пока. Но скоро будут. — Он оглянулся на дверь. — Я уезжаю. Пришёл попрощаться.

— Куда?

Он улыбнулся.

— Далеко. Вам лучше не знать. Есть люди, которые хотят начать всё сначала. Собрать то, что осталось. Есть один человек — приехал из-за границы... — Он осёкся. — Неважно. Я еду к ним.

Елена побледнела.

— Это опасно.

— Всё опасно, Елена Абрамовна. Жить — опасно. Но если сидеть и ждать, пока они задушат всех по одному, — это не жизнь. Это ожидание смерти. — Он помолчал. — Коля говорит, я был прав. Устав его убедил. Знаете, мне от этого не радостно. Совсем.

Он повернулся к Эмме. Полез во внутренний карман пальто.

— Это ваше, кажется, — сказал он.

И протянул ей что-то серое, свёрнутое.

Шарф.

Еленин шарф. Тот самый. Чуть грязный, с порванной бахромой с одного края, но — тот самый.

Эмма взяла его. У неё задрожали руки.

— Где вы его...

— На лестнице, — сказал Северцев. — В ту ночь. Между третьим и четвёртым этажом. Я бежал последним — видел, кто-то обронил. Я подумал: женский. Значит, кто-то из девушек. Сунул в карман. А потом, на крыше, — он вдруг засмеялся, — на крыше я замотал им лицо. От ветра. Знаете, три квартала по крышам — там ветер с залива, как на Северном полюсе. Ваш шарф меня, можно сказать, спас. А потом Коля сказал, что вы его потеряли. Ну вот.

Эмма прижала шарф к груди. Потом, не думая, обмотала им шею. Он пах Еленой и ещё чем-то — табаком, ветром, крышами.

— Спасибо, — сказала она.

— Это вам спасибо, — сказал Северцев серьёзно. — За урок.

— Какой урок?

— «Может, начать с одного?» — Он посмотрел на неё долгим взглядом. — Вы тогда сказали, на сходке. Перед тем, как ворвались. Я думал об этом. Всю ночь на крыше думал. Вы правы. С одного. — Он помолчал. — Только я, кажется, опять выбрал не того одного.

Он повернулся к Елене.

— Елена Абрамовна. Если меня возьмут — а меня возьмут, рано или поздно, — вас могут спросить. Про карточки. Скажите, что ничего не знали. Что ретушировали — и всё. Портреты как портреты. Вы ничего не знали. Обещайте.

— Обещаю, — прошептала Елена.

— Хорошо. — Он надел котелок. — Прощайте. Обе.

Он пошёл к двери. На пороге остановился, обернулся.

— Нигилистка, — сказал он. — Вам ведь пятнадцать?

— Да.

— В пятнадцать ещё можно всё начать с одного. — Он улыбнулся, впервые за всё время, — не усмешкой, а улыбкой. — Не опоздайте. Мы — опоздали.

Колокольчик звякнул. Дверь закрылась.

Эмма подошла к окну. Внизу, по Гороховой, шёл высокий человек в драповом пальто и котелке, с тростью, — шёл не спеша, как ходят чиновники после службы, — и скоро затерялся среди прохожих.

Она стояла у окна, держась за шарф на шее, и смотрела ему вслед, и знала — точно знала, всем существом, — что больше никогда его не увидит.

Она ошибалась. Но узнала она об этом только через тридцать шесть лет.



Глава 5. Пассаж

1. Пассаж

— Корсеты, — сказал отец, — это не перчатки. Корсеты носят все. Даже кухарки. Даже в деревне скоро будут носить. Это ремесло с будущим.

Он сказал это в конце августа, вернувшись откуда-то в хорошем настроении, что случилось с ним теперь редко, и Эмма сразу поняла, что спорить бесполезно. Мадам Зильберг, державшая корсетную мастерскую в Пассаже, приходилась дальней родственницей жене кузена Якова. Платила она на два рубля больше, чем перчаточная фабрика. И — это отец произнёс с особым удовольствием — мастерская была на Невском, в двадцати минутах ходьбы. Никаких переходов через Неву. Никаких ёлочек на льду.

— И никаких студентов на Васильевском, — добавил он, глядя на Эмму. — Университет там. Я не слепой.

Эмма промолчала. Она думала о Глаше.

Прощались у ворот фабрики, в последний вечер, в тёплых августовских сумерках. Шестьсот женщин вытекали из ворот на улицу, как вода из шлюза, и растекались по линиям, и Глаша стояла у фонаря, в своём выцветшем платке, и ждала. Увидев Эмму, она не бросилась обниматься, как обычно. Стояла, мяла в руках какую-то бумажку и смотрела в сторону.

— Ну вот, — сказала она. — Значит, на Невский. В барыни.

— Не в барыни. В корсетницы.

— Один чёрт. — Глаша шмыгнула носом. — Будешь господам корсеты шить. Затягивать их. Чтоб талия, как у осы.

— Буду.

Они помолчали. Мимо шли девушки, кто-то кричал: «Глашка! Идёшь?» — Глаша не обернулась.

— Вот, — сказала она наконец и сунула Эмме бумажку. — Это тебе. На память. Только дома прочтёшь.

— Почему дома?

— Потому. — Глаша вдруг покраснела до корней волос. — Стыдно. Криво.

Эмма развернула тут же, под фонарём. На листке, вырванном, кажется, из конторской книги, огромными кривыми буквами, налезавшими одна на другую, было выведено углём:

ГЛАФИРА ЭММОЧКЕ НА ПАМЯТЬ. НЕ ЗАБЫВАЙ.

Буквы были корявые, как забор в деревне. «Э» смотрела не в ту сторону. «Ч» была похожа на стул. Но это было написано — написано рукой, которая год назад не умела вывести ни одной буквы.

Эмма подняла глаза. Глаша стояла, вся красная, и смотрела на неё с вызовом и страхом сразу, как смотрят, когда отдали самое дорогое и боятся, что засмеют.

— Глаша, — сказала Эмма, и у неё перехватило горло. — Это... Это лучший подарок в моей жизни.

— Врёшь, — сказала Глаша.

— Не вру.

И тогда Глаша всё-таки сгребла её в охапку, как в тот раз, когда впервые написала своё имя, и прижала к себе, и Эмма уткнулась носом в её платок, пахнувший кожей, клеем и луком, и они стояли так посреди улицы, а мимо шли работницы и смеялись.

— По воскресеньям приду, — сказала Глаша ей в макушку. — К Казанскому. В два часа. Будешь меня дальше учить. Я ещё «ять» не знаю.

— Никто «ять» не знает, — сказала Эмма. — Даже Коля путается.

Глаша засмеялась и отпустила её.

— Иди уж, барыня. Затягивай господ.

Мастерская мадам Зильберг помещалась на третьем этаже Пассажа, в конце длинной галереи, над магазинами. Внизу, под стеклянной крышей, через которую падал серый петербургский свет, гуляли дамы в шляпках и господа с тростями, рассматривали витрины, пили шоколад в кондитерской, слушали шарманщика. Пахло духами, кофе, нагретым газом из рожков. А наверху, за неприметной дверью с медной табличкой «Корсетное заведение Р. Зильберг. Парижские модели», было тесно, душно и пахло совсем другим — потом, крахмалом и машинным маслом.

Сорок девушек сидели в двух комнатах, окна которых выходили на глухой двор. Летом здесь было жарко, как в бане, зимой — холодно, как в погребе. Стучали швейные машины — их было шесть, новенькие, зингеровские, предмет гордости мадам Зильберг, — и за машинами сидели старшие, опытные. Остальные шили вручную. Резали китовый ус на пластины. Вшивали стальные планшеты — узкие, как ножи, полосы металла, которые держали спереди всю конструкцию. Обмётывали петли для шнуровки. Сто петель на корсет. Двести. Корсеты висели на стенах, на манекенах, лежали стопками на столах — белые, розовые, чёрные, атласные, батистовые, с кружевом и без, — и Эмма, впервые войдя сюда, подумала, что это похоже на кладбище: ряды пустых белых тел без голов.

Мадам Зильберг была маленькая, полная, лет пятидесяти, затянутая в собственный корсет так туго, что дышала только верхушками лёгких, коротко и часто, как собачка. Она носила чёрное шёлковое платье, золотое пенсне на цепочке и говорила на смеси идиша, русского и плохого французского — «шик», «модель», «силуэт», «элегантно». Она осмотрела Эмму с головы до ног, как осматривают отрез ткани.

— Худая, — сказала она. — Хорошо. Будешь на примерках стоять, когда модель надо показать. Руки покажи.

Эмма показала. Мадам Зильберг повертела её ладони, пощупала пальцы.

— Перчаточница, — сказала она. — Пальцы ловкие. Будешь на петлях. Сто петель в день — сорок копеек. Меньше — вычитаю. Испортишь атлас — вычитаю вдвое. Опоздаешь — вычитаю. Разговариваешь на работе — вычитаю. Поёшь — выгоню.

— Поёшь? — переспросила Эмма.

— Здесь не фабрика, — сказала мадам Зильберг с достоинством. — Здесь заведение. Парижское. К нам дамы ходят на примерку. Генеральши. Графиня одна ходит. Ты хочешь, чтобы графиня слышала, как вы тут орёте мужицкие песни?

Эмма не хотела. Но ей стало жаль Бауэра. Строгого, сухого, молчаливого Бауэра, который разрешал петь, потому что «в Саксонии всегда поют», и который положил гривенник в Глашин платок.

Её посадили рядом с девушкой, которая оказалась её первой и единственной здешней подругой.

Девушку звали Ривка. Ривке было семнадцать, она была смуглая, худая, острая, как планшета, с чёрными глазами, которые смотрели на всё насмешливо, будто знали про этот мир что-то неприличное. Она работала у Зильберг третий год и знала всё — кто кому должен, кто с кем ссорится, кто из девушек «гуляет», кто из заказчиц не платит, у кого из них муж, а у кого «покровитель». Она говорила быстро, полушёпотом, уголком рта, не поднимая глаз от работы, — так, что мадам Зильберг никогда не могла её поймать.

— Гольдман, — сказала она, когда Эмма назвалась. — Это не той Гольдман, у которой бакалея на Песках?

— Той.

— А-а. Мой дядя у вас селёдку берёт. Говорит, ржавая.

— Ржавая, — согласилась Эмма. — Околоточный тоже так говорит.

Ривка впервые подняла на неё глаза. И усмехнулась.

— А ты ничего, — сказала она. — Не дура. А дядя мой — Шапиро. Шалями торгует. Ты ему, говорят, в детстве цветок вывязала.

Эмма уставилась на неё.

— Откуда ты...

— Он рассказывал, — сказала Ривка, снова опуская глаза к петлям. — Он всем рассказывает. Говорит: «Была у меня одна девочка, Гольдман, двенадцать лет, — вывязала на шали цветок. Самовольно. Я ей рубль удержал. А шаль, — говорит, — ту шаль потом одна барыня купила за два рубля, втридорога. Именно из-за цветка. Сказала — работа с душой». — Ривка хмыкнула. — Он эту историю десять раз рассказывал. Каждый раз смеётся. Говорит: «Вот девочка была — я на ней рубль заработал».

Эмма сидела, держа иглу, и не знала — смеяться ей или плакать. Её цветок продали за два рубля. Втридорога. «Работа с душой». А ей удержали рубль.

— Твоя душа, — сказала Ривка, будто прочитав её мысли, — тоже товар. Привыкай. В Пассаже всё товар.

Вечером, в девятом часу, когда мастерская закрывалась, Эмма спустилась вниз вместе с девушками, через служебную лестницу, на Итальянскую улицу. И остановилась на пороге.

У выхода стояли мужчины.

Человек десять. Офицеры в шинелях с блестящими пуговицами, с пашками на боку. Двое штатских, франтоватых, в цилиндрах, с тросточками. Ещё какие-то — приказчики? писари? — в пальто попроще. Они стояли кучками у фонаря, курили, переговаривались, и когда девушки стали выходить, все разом повернулись к двери.

— О-о, вот и наши пташки!

— Мадемуазель! Мадемуазель Катенька! Позвольте проводить!

— Сонечка, прелесть моя, в кондитерскую?

Некоторые девушки смеялись и шли к ним. Одна, рослая, румяная, сразу взяла под руку офицера и пошла с ним по улице, хохоча. Другие опускали головы и быстро проходили мимо. Эмма стояла, не понимая.

— Не стой столбом, — шепнула Ривка и взяла её под локоть. — Иди. Не смотри на них. Не отвечай. Что бы ни говорили — не отвечай.

— Кто это?

— Охотники, — сказала Ривка. — За дичью. Мы — дичь. Пошли.

Они прошли сквозь строй. Кто-то присвистнул вслед. Кто-то сказал что-то по-французски, и рядом засмеялись. Эмма не поняла слов, но поняла смех, и у неё загорелись щёки.

— А те, что пошли с ними? — спросила она, когда они вышли на Невский.

— Те — дуры, — сказала Ривка. — Или голодные. Или и то, и другое. Он ей сегодня пирожное купит. Через неделю — перчатки. Через месяц — снимет комнату. Через полгода — бросит. А потом она пойдёт на Сенную. — Ривка пожала плечами. — Я это видела. Три раза. За два года.

Эмма шла молча.

— Слушай меня, Гольдман, — сказала Ривка, останавливаясь у конки. — Ты новенькая. Ты, я вижу, из книжных. Ты думаешь, люди хорошие. Так вот: здесь — нет. Здесь, в Пассаже, всё — товар. Корсеты — товар. Шоколад — товар. И мы — товар. Только мы — дешёвый. За пирожное. Поняла?

— Поняла, — сказала Эмма.

Она не поняла. Не до конца. Но запомнила.

2. Летний сад

Коля пришёл к Казанскому собору в воскресенье, в конце сентября, не один.

Эмма ждала там Глашу, как договорились, к двум часам. Глаша не пришла — заболел отец, потом выяснится, запил, и она не могла его оставить. Зато пришёл Коля, которого Эмма не видела с середины лета, с тех пор как отец, кажется, начал что-то подозревать и уроки стали реже, — и с ним ещё двое: высокий рыжий парень с весёлым лицом и маленький, чернявый, в пенсне.

— Эмма Абрамовна! — Коля просиял, увидев её. — Я так и думал! Елена Абрамовна сказала, вы здесь по воскресеньям бываете. — Он оглянулся на товарищей. — Это Миша Рогов и Сеня Кац. Мы... то есть... нас исключили. Всех троих. На прошлой неделе. По новому уставу. За то, что не захотели надеть форму. — Он засмеялся немного нервно. — Мы теперь свободные люди. Ни университета, ни будущего. Пойдёмте гулять!

Рядом с Эммой стояла Ривка — она увязалась за ней «посмотреть на этих твоих студентов», — и, услышав «исключили», присвистнула.

— Ну, вы и герои, — сказала она. — За форму! Да я бы за такую форму, как у вас, ещё приплатила.

Рыжий Миша захохотал. Чернявый Сеня обиделся. Коля покраснел. И они пошли гулять.

Летний сад в тот день был таким, каким Эмма его запомнит на всю жизнь и каким будет видеть во сне в тюремной камере на Блэквелл-Айленде, в Чикаго, в Лондоне. Золотой. Совершенно золотой. Старые липы и вязы стояли, как огромные свечи, и листья падали медленно, кружась, и лежали на дорожках таким толстым шуршащим ковром, что ноги тонули в нём по щиколотку. Мраморные статуи — богини, нимфы, императоры — белели между деревьями, ещё не закрытые на зиму деревянными футлярами, и на плечах у них лежали жёлтые листья, как эполеты. Низкое солнце било сквозь кроны косыми лучами, и всё вокруг было в этом свете — медовом, густом, прощальном, — и решётка вдоль Невы, чёрная с золотом, казалась вырезанной из бумаги.

Они гуляли до сумерек. Миша Рогов рассказывал смешное — как инспектор пытался силой натянуть на него форменный сюртук, а он лёг на пол и не давался, и инспектор пыхтел над ним, как над упрямым поросёнком. Сеня Кац рассказывал серьёзное — о том, что в Германии студенты имеют свои корпорации, свои суды, свои дуэли, а здесь даже кассу взаимопомощи запретили. Коля читал Некрасова — «Сеятелю знания на ниву народную» — и сбивался, и Миша подсказывал. Ривка смеялась над всеми троими, но Эмма видела, что ей нравится. Что ей впервые в жизни, может быть, нравится смеяться не над охотниками у двери, а над людьми, которые не охотятся.

Они сидели на скамейке у пруда, кормили лебедей хлебом, который Миша выудил из кармана, и говорили о Чернышевском, и Ривка вдруг спросила:

— А это правда, что там женщина сама себе мужа выбрала? Без свахи?

— Правда, — сказала Эмма.

— И сама мастерскую открыла?

— Сама.

— И никто её не убил?

— Никто.

Ривка помолчала.

— Враньё, — сказала она наконец. — Таких не бывает. Но враньё хорошее. Дадите почитать?

Все засмеялись. Коля пообещал достать.

Они вышли из сада через главные ворота на набережную, уже в сумерках, — Коля и Эмма впереди, Миша с Ривкой и Сеня позади, — и Эмма как раз говорила Коле что-то, смеясь, повернув к нему голову, когда увидела отца.

Он стоял на тротуаре, в двадцати шагах. В своём пальто с барашковым воротником, с портфелем под мышкой — шёл, наверное, от какого-нибудь поставщика, от оптовика, с которым торговался за мыло. Шёл — и остановился. И смотрел на неё.

Она увидела его лицо. Лицо было белое.

— Эмма Абрамовна? — сказал Коля. — Что с вами?

Эмма не ответила. Она смотрела на отца. Отец смотрел на неё. Потом — на Колю. Потом — на Мишу, рыжего, хохочущего, который как раз в эту минуту приобнял Ривку за плечи, показывая ей что-то на Неве. Потом снова на неё.

Отец ничего не сказал. Он повернулся и пошёл прочь. Быстро. Не оглядываясь.

— Мне надо домой, — сказала Эмма.

— Что случилось?

— Это отец, — сказала Эмма. — Мне надо домой. Сейчас.

Она побежала.

Дома было тихо, когда она вошла. Слишком тихо. Мать сидела у окна с шитьём и не подняла головы. Герман с Егором делали уроки и тоже не поднимали голов. Елены не было — она ещё не вернулась из ателье.

Отец стоял посреди комнаты.

Он ждал её. Он не снял пальто.

— Где ты была? — спросил он.

Голос был тихий. Очень тихий. Это было хуже всего. Эмма знала: когда отец кричит, это гроза. Когда говорит тихо — это землетрясение.

— В Летнем саду, — сказала Эмма. — Гуляла.

— С кем?

— С подругой. С Ривкой. Из мастерской. И...

— И?

— И с Колей. Ершовым. И с его товарищами. Мы просто гуляли. Кормили лебедей.

— Лебедей, — повторил отец. — Лебедей.

Он подошёл к ней. Медленно.

— Я видел, — сказал он. — Я всё видел. Как ты шла с этим очкариком. Как ты смеялась ему в лицо. Как тот, рыжий, лапал твою подругу. При всех. На набережной. Среда бела дня. Моя дочь. Моя дочь — с нигилистами. С исключёнными. С безбожниками. На глазах у всего Петербурга.

— Мы ничего не делали! Мы просто...

Он ударил её.

Она ждала этого и всё равно не успела закрыться. Удар пришёлся в висок, она пошатнулась, и тогда он схватил её за плечи — обеими руками, железными, как тиски, — и швырнул.

За её спиной была полка. Длинная деревянная полка вдоль стены, от пола почти до потолка, на которой мать держала припасы на зиму. Банки. Стекланные банки с вареньем — вишнёвым, крыжовенным, яблочным, сливовым, — которое мать варила весь август и весь сентябрь, ночами, после работы, в медном тазу, помешивая деревянной ложкой и снимая пенку, и Эмма помогала ей чистить вишню, и пальцы у неё неделю были красные. Сорок банок. Может быть, пятьдесят. Вся зима.

Эмма ударила спиной о полку. Полка качнулась. И банки посыпались.

Они падали вокруг неё и на неё, и разбивались о пол с сухим, страшным звоном, одна за другой, и варенье — густое, тёмное, вишнёвое, похожее на кровь, — растекалось по половицам,

и осколки летели во все стороны. Эмма упала на колени, в варенье, в стекло, закрыв голову руками. Что-то ударило её по плечу, по затылку. Кто-то закричал — мать? Егор?

— Не потерплю! — кричал отец над ней. Теперь он кричал. — Не потерплю распутной дочери! Слышишь? Не по-тер-плю!

Он схватил её за волосы — за её непослушные светлые волосы, которые он всю жизнь ненавидел, — и поднял с пола, и снова ударил, и снова. И она не кричала. Она не издала ни звука. Она только смотрела на него. И в какой-то момент он перестал.

Он стоял, тяжело дыша, посреди разгромленной комнаты, посреди лужи варенья и осколков, с прядью её волос в кулаке, и смотрел на неё. А она смотрела на него.

— Сказано, — сказал он хрипло, — «кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына». Мишлей. Притчи Соломоновы. Тринадцатая глава. Это не я сказал. Это сказал Бог. Слышишь? Бог. Отец должен учить. Если не учить — дитя пропадёт. Я тебя учу. Это мой долг перед Богом. Я за тебя перед Ним отвечаю.

Он разжал кулак. Прядь волос упала в варенье.

Он вышел. Хлопнула дверь.

Мать стояла у окна, прижимая к себе Егора. Она не подошла. Она смотрела на разбитые банки — на свою зиму, растёкшуюся по полу, — и лицо у неё было как у человека, который смотрит на пожар.

Потом она медленно опустилась на колени, прямо в варенье, и начала собирать осколки. Голыми руками. Молча.

Эмма поднялась. Пошла в другую комнату. Легла на кровать, не раздеваясь, в платье, залитом вишнёвым, лицом к стене.

Елена пришла через час. Эмма услышала, как она вошла, как остановилась в дверях первой комнаты, как охнула. Как мать что-то тихо сказала ей. Как Елена пришла в их комнату и села на край кровати.

Она ничего не спросила. Она принесла таз с тёплой водой, чистую тряпку и маленькие ножницы. Она раздела Эмму, как маленькую, — осторожно, медленно, — и стала промывать. Ссадины на плечах. Синяк на виске. Порезы на коленях. И на ладони — правой, той, которой Эмма упёрлась в пол, падая, — было несколько осколков, мелких, глубоко вошедших в кожу. Елена вынимала их ножницами, по одному, при свете лампы, и Эмма не морщилась, хотя было больно.

— Он сказал, — проговорила Эмма наконец, глядя в потолок, — что это Бог велел. Притчи Соломоновы. «Кто жалеет розги, тот ненавидит сына».

Елена вынула очередной осколок, положила его на блюдце. Маленький, острый, в капле крови.

— Знаю я эти притчи, — тихо сказала она.

— Елена. А в Библии у русских — у них ведь та же книга? Те же притчи?

— Та же.

— И там тоже написано — «кто жалеет розги»?

— Тоже.

Эмма помолчала.

— Значит, — сказала она медленно, — когда волостной суд сечёт Глашиного Ваньку, — там тоже, наверное, говорят: Бог велел? И урядник в Попелянах? И Трепов? Им тоже Бог велел?

Елена не ответила. Только руки её на мгновение остановились.

— Папин Бог, — продолжала Эмма, — велит ему бить меня. Потому что он отец. А царский Бог велит царю сечь мужиков. Потому что царь — тоже отец. Батюшка. Глаша так его называет — батюшка. А отец должен учить. Розгой. — Она засмеялась, коротко, страшно, совсем как Северцев. — Это один и тот же Бог, Елена. Один и тот же. Он только в разные

одежды переодевается. В синагоге — в талес. В Казанском соборе — в ризу. А розга у него в руке одна и та же.

— Тише, — шепнула Елена. — Мама услышит.

— Пусть слышит.

Елена вынула последний осколок. Промыла ладонь. Забинтовала тряпицей. Потом долго сидела, держа Эммину руку в своих.

— Отец запретил уроки, — сказала она наконец. — Пока ты лежала, он сказал маме. Колю на порог больше не пустит. Сказал — если увидит, убьёт.

Эмма закрыла глаза.

— Я знала, — сказала она.

За стеной, в первой комнате, тихо звякало стекло. Мать всё ещё собирала осколки. Голыми руками. Одна, в темноте. Свою разбитую зиму.

3. Аресты

Через неделю, в начале октября, Коля передал через Елену записку. Елена принесла её в рукаве, сунула Эмме под подушку и шепнула: «Сожги потом».

Записка была короткая, без подписи, мелким, торопливым почерком:

«Взяли Г. Л. — шестого, на Невском. При нём бумаги. Все имена. Все адреса. Не шифровано. Теперь берут всех. Везде. В Петербурге, в Москве, в Харькове, в Киеве. Наших с Васильевского — уже шестерых. Я пока на свободе. Будьте осторожны. Е. А. — особенно. Если придут — ничего не знаете. Сожгите».

Эмма сожгла её в печке, той самой, где сгорела французская грамматика. Смотрела, как чернеет бумага, как исчезают слова — «все имена», «все адреса», «не шифровано», — и думала: кто такой Г. Л.? И почему у него были бумаги, где всё — все имена, все адреса — было записано просто так, открыто, будто список покупок для лавки?

Потом, много позже, она узнает: Герман Лопатин. Тот самый человек, который «приехал из-за границы», к которому уехал Северцев. Друг Маркса, переводчик «Капитала», человек, который однажды бежал из сибирской ссылки и пытался освободить Чернышевского. Человек невероятной смелости — и невероятной, роковой беспечности. При аресте у него нашли записную книжку, где не было зашифровано ничего. Никакой «Народной воли» после этого не осталось. Её не разгромили — её просто вычеркнули. По списку.

Но тогда, в октябре, она знала только одно: «Е. А. — особенно».

Они пришли через десять дней.

Не домой — в ателье. Елена рассказала об этом вечером, вернувшись на два часа позже обычного, бледная, как мел, с пустыми руками — без своего рабочего ящичка с кистями и красками, с которым не расставалась никогда.

Пришли днём, в самый разгар работы. Трое: жандармский ротмистр в голубом мундире, с усами, вежливый, как приказчик, и двое нижних чинов. Господина Клейнмихеля, который как раз снимал купеческую чету на фоне нарисованной балюстрады, попросили «не беспокоиться». Купеческую чету попросили выйти. Двери заперли.

Искали негативы. Все. Перерыли всё — шкафы, ящики, сундуки, тёмную комнату, где проявляли снимки. Выносили стеклянные пластины коробками, просматривали на свет. Ротмистр сам перебирал их, одну за другой, внимательно, спокойно, и откладывал некоторые в сторону. Потом позвал Елену.

— Вы ретушёра? — спросил он.

— Да.

— Давно здесь работаете?

— Два года.

— Вот эти, — он показал на отложенную стопку, — ваша работа?

Елена посмотрела. На пластинах были лица. Мужские, женские. Молодые. Она узнала некоторых. Она ретушировала их — убирала тени под глазами, разглаживала морщины, делала лица чище, яснее, моложе, чем они были на самом деле. Тех, кого повесили. Тех, кто сидел. Тех, кого искали.

— Я не помню, — сказала Елена. — Я ретушировала сотни лиц. Купцов, офицеров, невест. Я не запоминаю лица. Мне приносят негатив — я делаю работу. Мне платят за работу, а не за то, чтобы я знала, кого снимают.

Ротмистр посмотрел на неё долгим взглядом.

— Вам известен студент Технологического института Андрей Петрович Северцев?

У Елены — рассказывала она потом — всё внутри оборвалось. Но лицо не дрогнуло. Она думала об обещании. «Скажите, что ничего не знали. Портреты как портреты».

— Да, — сказала она. — Он заказывал у нас карточки. Групповой портрет своего курса. Перед выпуском.

— Только групповой портрет?

— Я не знаю, что ещё. Заказы принимает господин Клейнмихель. Я только ретуширую.

Ротмистр помолчал. Потом вдруг улыбнулся — вежливо, почти ласково.

— Знаете, Елена Абрамовна, — сказал он, — Северцев арестован. Неделю назад. В Москве. Он сейчас в Петропавловской крепости. Он дал показания. — Пауза. — Подробные.

Это была ложь. Елена поняла это потом — гораздо потом, — когда узнала, что Северцев на допросах не сказал ни слова. Ни одного имени. Но тогда, в ту минуту, ей показалось, что пол уходит из-под ног.

— Мне нечего добавить, — сказала она. — Я ретушировала портреты. И всё.

Ротмистр смотрел на неё ещё минуту. Потом пожал плечами.

— Что ж. Можете идти. Пока. Но из города не уезжайте. Мы вас, возможно, ещё пригласим.

Они ушли через три часа, унеся две коробки негативов. А через полчаса господин Клейнмихель, красный, потный, с трясущимся моноклем, вызвал Елену в свою контору.

— Простите, — сказал он, не глядя ей в глаза. — Простите, Елена Абрамовна. Вы прекрасная ретушёрша. Лучшая, какая у меня была. Но... вы понимаете. Жандармы. Моё заведение. Мои клиенты. Если узнают... Я не могу. У меня семья.

Он дал ей жалованье за месяц вперёд. И попросил больше не приходить.

— Даже ящичек не отдал, — сказала Елена. Она сидела на краю кровати, сжав руки на коленях, и смотрела в пол. — Мои кисти. Мои краски. Сказал — потом пришлёт. Не пришлёт.

Эмма села рядом и обняла её.

— Андрея Петровича взяли, — сказала Елена. — Он в крепости. Там же, где дядя Егор сидел.

— Ты ему веришь? Что он дал показания?

Елена долго молчала.

— Нет, — сказала она наконец. — Не верю. Он бы не дал. Он скорее...

Она не договорила.

А за стеной уже гремел отец.

Он узнал от матери, которой Елена, войдя, успела шепнуть два слова. И теперь он метался по первой комнате, как зверь по клетке, и кричал — не на Елену, не на Эмму, а в пространство, в потолок, в Бога.

— Я говорил! Я говорил! Я с первого дня говорил! Нигилисты! Студенты! Безбожники! Вот! Вот до чего довели! Жандармы! В моём доме — жандармы! Скоро и сюда придут! За всеми нами! Вышлют! В Сибирь! В черту! Всех! Из-за неё! Из-за них обеих!

Мать сидела у окна и молчала. Мальчики забились в угол.

— Работы нет! — кричал отец. — Елена без работы! Кто теперь кормить будет? Кто? Эта — с её сорока копеек? Я — с моей лавкой, где околоточный каждый месяц берёт больше, чем я зарабатываю? На что жить, я вас спрашиваю? На что?

Он вдруг остановился. Повернулся к двери их комнаты. И Эмма, сидевшая рядом с Еленой, увидела его лицо в проёме — красное, искажённое, мокрое от пота. И увидела — с ужасом и с жалостью — что в глазах у него стоят слёзы.

— Я вас всех погублю, — сказал он вдруг совсем тихо, растерянно, будто удивляясь сам себе. — Или вы меня. Одно из двух.

И ушёл. В лавку. На всю ночь.

А в воскресенье, тайком, у Казанского собора, Эмма встретила Колю. Он пришёл один, в штатском пальто, в надвинутой на глаза шапке, оглядываясь. Он похудел. Под глазами у него были синие круги.

— Его взяли в Москве, — сказал он, не здороваясь. — На вокзале. Он ехал на юг, в Харьков. Его узнали по фотографической карточке. По его собственной карточке, понимаете? — Коля невесело усмехнулся. — Которую, может быть, Елена Абрамовна же и ретушировала. Химик. Знает законы равновесия.

— Он в крепости?

— В Трубецком бастионе. Одиночка. Никаких свиданий. Никаких передач. Говорят — молчит. Ни слова не сказал. Ни одного имени. — Коля помолчал. — Говорят, его будут судить вместе с Лопатыным. Военным судом. Это значит...

Он не договорил. Эмма знала, что это значит. Виселица. Или вечная каторга. Или Шлиссельбург, о котором говорили шёпотом, — новая тюрьма на острове в Ладожском озере, откуда, говорили, не возвращается никто.

Она стояла у колонны Казанского собора, под мелким октябрьским дождём, и думала о шарфе. О сером шарфе, который сейчас был у неё на шее. О том, что Северцев замотал им лицо на крыше, убегая от жандармов. О том, что шарф спас его тогда. И не спас теперь.

И о том, что этот шарф — последнее, что она от него получила. Последнее, что вообще от него осталось. Кроме урока.

«Может, начать с одного?»

Она подняла руку и коснулась шарфа. Мокрая шерсть пахла дождём.

4. Клерк

Ноябрь был самым тяжёлым месяцем в её жизни. До того дня — самым тяжёлым.

Елена искала работу. Каждое утро уходила с рекомендательным письмом, которое ей всё-таки написал господин Клейнмихель, — сухое, осторожное, без единого тёплого слова, — и каждый вечер возвращалась с пустыми руками. Фотоателье в Петербурге было много, но все хозяева, видимо, знали друг друга. Слух о жандармах опередил её. Ей отказывали вежливо, извиняясь, ссылаясь на то, что «место уже занято», что «сейчас не сезон», что «приходите весной». Однажды она пришла домой и сказала, глядя в стену:

— Сегодня в одном месте мне сказали прямо. «Мы не берём жидовок, связанных с нигилистами». Хоть честно.

Денег не было. Жалованье за месяц, которое дал Клейнмихель, ушло за две недели. Эммины сорок копеек в день — двенадцать рублей в месяц, если без вычетов, а вычеты у мадам Зильберг были всегда — уходили на хлеб. Лавка приносила убытки. Отец задолжал оптовику за мыло. Околоточный, узнав каким-то образом про жандармов, стал приходить не раз в месяц, а раз в неделю — и брать больше. Мать перешивала старые платья, продавала то, что ещё можно было продать: сначала серебряные подсвечники, потом свою праздничную шаль, потом

— Эмма видела это, видела, как мать заворачивает их в бумагу с каменным лицом, — серьги. Те, что остались от Бабушки.

Отец срывался. Почти каждый вечер. Не только на Эмму — на всех. На Германа — за плохую отметку. На Егора — за то, что шумит. На мать — за пересолённый суп. На Елену — за то, что «шляется без толку и ничего не приносит». Он больше не бил Эмму так, как в тот день, у полки, — может быть, испугался сам себя, — но кричал, и толкал, и однажды швырнул в неё сапогом, и попал в плечо, где ещё не сошёл старый синяк. Мать молчала. Мать теперь всегда молчала.

А в мастерской мадам Зильберг ей было никак. Не плохо — никак. Сто петель в день. Двести. Китовый ус, атлас, планшетки. Мадам Зильберг не замечала её, кроме тех случаев, когда надо было вычесть. Заказчицы, приходившие на примерку, — генеральши, купчихи, однажды действительно графиня, сухая старуха с лорнетом, — не замечали её вовсе. Она стояла в углу примерочной с подушечкой для булавок, подавала, держала, затягивала шнуровку на чужих спинах, и на неё смотрели, как смотрят на вешалку. Девушки-работницы смотрели на неё как на книжницу и немножко сторонились. Только Ривка разговаривала с ней по-настоящему. Но Ривка была насмешливая, и колючая, и смотрела на мир как на рынок, и иногда от её слов становилось ещё холоднее.

Глаша на Казанском больше не появлялась. Отец её запил по-настоящему, слёг, она ухаживала за ним и ходила на фабрику и не могла вырваться. Один раз прислала записку — корявую, на клочке, с тремя ошибками на пяти словах: «ЭММОЧКА ПРИДУ КОГДА ОТЕЦ ВСТА-НЕТ». Отец не вставал.

Коля был под надзором. Видеться они не могли.

Северцев — в крепости.

Она была одна. Совсем одна, впервые с тех пор, как перешла ручей. Утром — мастерская, где её не видят. Вечером — дом, где её бьют. Ночью — книги, которых больше никто не приносит, и которые она перечитывала по третьему, по четвёртому разу. Некрасов. Королева Луиза. Две фразы на обрывке бумаги.

Ей было пятнадцать лет, и ей казалось, что мир схлопнулся до размеров коридора между мастерской и домом.

Он появился в середине ноября.

Она не заметила, как именно. Просто однажды вечером, выходя из служебной двери на Итальянскую, вместе с Ривкой, сквозь привычный строй «охотников», который она уже научилась проходить, не поднимая глаз, — она вдруг поняла, что один из стоящих у фонаря не похож на остальных.

Он не кричал. Не свистел. Не говорил по-французски. Не подходил. Он стоял чуть в стороне, у стены, в хорошем тёмном пальто и мягкой шляпе, — молодой, лет двадцати пяти, гладко выбритый, с аккуратно подстриженными усами и спокойным, приятным лицом. Он смотрел, как выходят девушки, — и не смотрел на них так, как смотрели другие. Он смотрел, казалось, с лёгкой грустью. Как смотрят на что-то, что жаль.

Когда Эмма проходила мимо, он вежливо приподнял шляпу. И ничего не сказал.

— Кто это? — спросила Эмма у Ривки на углу.

Ривка оглянулась.

— А-а, этот, — сказала она. — Из гостиницы. Из «Европейской», что на углу. Клерк. Портье, или как там у них. Давно тут стоит. Неделю, может.

— Он не такой, как другие.

Ривка остановилась и посмотрела на неё.

— Все они такие, как другие, — сказала она. — Только по-разному.

Через три дня он заговорил.

Это было в субботу. Шёл мокрый снег. Эмма вышла позже других — мадам Зильберг задержала её, заставила переделывать петли на атласном корсете для какой-то генеральши, — и Ривка ушла, не дождавшись. Строй «охотников» уже разошёлся. У фонаря стоял только он.

— Простите, — сказал он, когда она проходила мимо. Голос был мягкий, негромкий, хорошо поставленный. — Простите, барышня. Я не хочу вас беспокоить. Вы обронули.

Он протягивал ей что-то. Она посмотрела. Книга. Её Некрасов, Колин Некрасов, который она носила с собой в кармане и читала в обед.

— Спасибо, — сказала Эмма и взяла книгу.

— Некрасов, — сказал он. — Вы читаете Некрасова?

— Да.

— В мастерской? Между корсетами?

Он улыбался. Улыбка была приятная, открытая. Без насмешки.

— В обед, — сказала Эмма.

— Удивительно, — сказал он. — Знаете, сколько я здесь стою? Каждый вечер. Жду смены. И я видел, как выходят все эти девушки. И я ни разу — ни разу — не видел, чтобы кто-нибудь из них нёс книгу. А вы — Некрасова.

Эмма не знала, что ответить.

— Вы любите стихи? — спросил он.

— Люблю.

— А прозу? Тургенева читали?

— «Отцов и детей», — сказала Эмма, и в голосе у неё помимо воли прозвучала гордость.

Он поднял брови — удивлённо, уважительно.

— «Отцов и детей», — повторил он. — В пятнадцать лет? Вам ведь лет пятнадцать?

— Да.

— Удивительно, — снова сказал он. — Знаете, я сам Базарова не люблю. Слишком резок. Но Одинцова... Одинцова — это прекрасно. А вам кто ближе?

И они поговорили. Минут десять. Под мокрым снегом, у фонаря. О Тургеневе. О Базарове. О том, что Одинцова, может быть, и умна, но холодна. О Некрасове — он знал наизусть несколько строф, прочёл, и прочёл хорошо, лучше, чем Коля. Он ничего не просил. Не предлагал проводить. Не звал в кондитерскую. Он говорил — и слушал. Слушал внимательно, наклонив голову, не перебивая, когда она отвечала. И время от времени говорил: «Как интересно», «Я никогда об этом так не думал», «Вы очень необычная девушка».

Потом сказал:

— Я вас задерживаю. Вас ждут дома. Простите. — И снова приподнял шляпу. — Доброй ночи, барышня.

И ушёл — в свою гостиницу через дорогу.

Эмма стояла под фонарём, прижимая к себе Некрасова, и смотрела ему вслед.

Её выслушали. Её выслушали — впервые за много недель. Не перебили, не накричали, не посмотрели как на вешалку. Взрослый, хорошо одетый, образованный человек остановился и говорил с ней о Тургеневе. Как с равной. «Вы очень необычная девушка».

Она не знала тогда — не могла знать, — что это и есть самое верное, самое старое средство. Не пирожное. Не перчатки. Не комната. Для девушек вроде той румяной, что уходила с офицером, — пирожное. А для таких, как она, — книжных, голодных, одиноких, — нужно было другое. Нужно было выслушать. Нужно было сказать: «Вы необычная». Нужно было стать тем, кого у неё не было.

Он это понимал. Он стоял у этого фонаря неделю не просто так. Он смотрел — и выбирал. И выбрал ту, что выходит одна, с книгой, с синяком на скуле, который не может закрыть даже платок.

Она приняла это за уважение. Это было другое.

После этого он стал заговаривать с ней каждый вечер. Не всегда — через день, через два, как будто не хотел быть навязчивым. Всегда коротко. Всегда вежливо. Всегда о книгах. Однажды он принёс ей книжку — «Дворянское гнездо», — сказал: «Возьмите. Мне всё равно некогда читать». Она взяла. Однажды спросил, почему она грустная, — и она, сама не зная как, рассказала про отца. Немного. Совсем немного. Он слушал, и лицо у него было такое печальное, такое сочувствующее, что ей захотелось плакать.

— Вам тяжело, — сказал он. — Вам очень тяжело. Я вижу. Вы такая... — Он запнулся, подбирая слово. — Такая живая. А вас запирают. Как птицу.

Ривка видела. Ривка всё видела.

— Гольдман, — сказала она однажды в мастерской, уголком рта, не поднимая глаз от петель. — Я тебя предупреждаю. Один раз. Этот твой клерк.

— Он не мой.

— Он твой. Он тебя выбрал. Я видела, как он смотрит. Я таких видела.

— Он ничего не просит, — сказала Эмма. — Он просто разговаривает. О книгах. Он — не такой.

Ривка медленно подняла глаза. Посмотрела на неё. И в её насмешливых чёрных глазах Эмма впервые увидела что-то совсем не насмешливое. Страх.

— Такие слушают, — сказала Ривка тихо, — пока им нужно. Потом перестают. Я знаю. Ты не знаешь, а я знаю. — Она помолчала. — Мою сестру старшую так. Тоже книжная была. Тоже — «он не такой».

— И что?

Ривка снова опустила глаза к работе.

— На Сенной она теперь, — сказала она. — Если жива.

Эмма замолчала.

Но вечером, выходя из служебной двери и видя у фонаря знакомую фигуру в мягкой шляпе, она снова остановилась. Потому что дома её ждал отец. Потому что мастерская была коридором, а дом — тупиком. Потому что этот человек был единственным, кто сейчас, в целом Петербурге, говорил с ней о Тургеневе и называл её необычной. Потому что ей было пятнадцать лет и она была одна.

Она остановилась. И он приподнял шляпу.

5. Проводы

Колю высылали в декабре, в самые короткие дни, когда светало в десятом часу и темнело в третьем.

Он прислал записку — снова через Елену, снова без подписи: «Исключён окончательно. Административно, под надзор полиции, на родину, Ярославская губ. Поезд в среду, 9 вечера, Николаевский. Если можете — придите. Если нет — не надо. Н.»

Эмма отпросилась у мадам Зильберг под предлогом, что болеет мать. Мадам Зильберг вычла полдня. Елена пошла с ней.

Николаевский вокзал был огромный, гулкий, с высокими сводами, залитый газовым светом, и пах угольным дымом, паром, мокрыми шубами и щами из буфета третьего класса. Толпа на перроне — мешки, корзины, сундуки, крестьяне в армяках, купцы в енотовых шубах, солдаты, бабы с детьми. Паровоз стоял, тяжело дыша, выпуская белые клубы, и под его брюхом, в темноте, что-то шипело и капало.

Колю они нашли у вагона третьего класса. Он стоял с маленьким фанерным сундучком, перевязанным той самой серой бечёвкой, — у него, кажется, была целая катушка этой бечёвки, — в своей огромной, не по росту, тужурке, и рядом с ним, чуть в стороне, переминался с ноги на ногу усатый жандарм. Конвой. До Ярославля.

Коля увидел их — и лицо у него сначала просияло, а потом вдруг сморщилось, будто он сейчас заплачет. Он не заплакал. Поправил очки.

— Пришли, — сказал он. — Я не думал. Ваш отец...

— Отец думает, что я у постели больной матери, — сказала Эмма.

— А мать?

— Мать знает. Но молчит.

Коля засмеялся. Потом перестал.

Он изменился. За два месяца — изменился так, что Эмма едва его узнала. Похудел. Лицо стало острым, скулы проступили. Вихор на макушке исчез — его коротко остригли. Под глазами залегли синие круги, как у Северцева. И глаза за толстыми стёклами были другие — не восторженные, как раньше, не испуганные. Какие-то... взрослые. Твёрдые.

— Вы надолго? — спросила Елена.

— Три года, — сказал Коля. — Под надзор. Без права выезда. Без права поступления куда-либо. Буду жить у матери в имении — ну, имение — это громко, дом и десять десятин. Буду... — Он пожал плечами. — Не знаю. Учить крестьянских ребятишек, если позволят. Если не позволят — тайком. Мой брат в Вологде так делает.

— А потом?

— А потом, — сказал Коля, — потом посмотрим. — Он помолчал. — Знаете, Эмма Абрамовна, я ведь в участке тогда, в мае, и потом, на допросах в октябре — я много думал. Андрей Петрович говорил: с ними нельзя по-хорошему. Я спорил. Говорил: надо учить, учить, учить. А теперь они меня выгнали за то, что я не хотел надеть форму. За форму. Понимаете? Не за бомбу. Не за прокламацию. За то, что я не хотел быть одетым, как они велят. — Он снял очки, протёр их. — Я и теперь против бомб. Но я теперь понимаю, почему другие — за.

Паровоз загудел. Жандарм тронул Колю за локоть.

— Пора, барин.

— Сейчас. — Коля полез за пазуху и достал книгу. Ту самую. Некрасова. Свой экземпляр, потрёпанный, с загнутыми уголками, с его пометками на полях. — Вот. Возьмите. У вас ведь мой, но этот — мой собственный. С тех пор, как мне было четырнадцать. Там всё подчёркнуто.

— Коля, я не могу...

— Можете. — Он сунул ей книгу в руки. — И учите Глашу дальше. Слышите? Учите её. Это — единственное, что я точно знаю. Что это — правильно. Буквы. Глаша. Остальное — не знаю. А это — знаю.

— Буду, — сказала Эмма.

Он посмотрел на неё — долго, через свои толстые стёкла.

— Вы удивительная, — сказал он. — Я никогда не встречал такой. Ни среди курсисток, ни среди... ни среди кого. Вы — то, о чём мы все говорили. Помните? Я сказал вам в первый раз. Мы говорим, а вы — делаете.

Он вдруг протянул руку — и Эмма пожала её, как тогда, в первый раз, когда Северцев протянул ей руку, как взрослой. Рука у Коли была горячая, влажная и дрожала.

— Прощайте, Эмма Абрамовна, — сказал он. — Елена Абрамовна.

— До свидания, — сказала Эмма. — Не прощайте. До свидания.

Он улыбнулся.

— До свидания.

Жандарм посадил его в вагон. Коля исчез внутри. Потом появился в окне — прижался лицом к мутному стеклу, — и Эмма увидела его очки, его коротко стриженную голову, его поднятую руку.

Паровоз дёрнулся. Лязгнули сцепки. Вагоны поплыли мимо — медленно, потом быстрее, — и окно с Колей уплыло в темноту, в дым, в декабрьскую ночь, и Эмма стояла и махала, пока не перестала видеть даже огни последнего вагона.

Они шли домой с Еленой по Невскому. Был мокрый снег — опять мокрый снег, — и фонари расплывались в нём жёлтыми пятнами, и прохожих было мало. Эмма прижимала к груди Колиного Некрасова. Елена молчала.

Эмма думала о том, что теперь у неё не осталось никого. Северцев — в крепости. Коля — в поезде, в Ярославль, на три года. Глаша — у постели пьяного отца, на другом конце города. Елена рядом — но Елена теперь всё время молчала и смотрела в одну точку, и Эмма знала, о чём она думает. О работе, которой нет. О деньгах, которых нет. О том, что будет дальше.

Елена вдруг остановилась у витрины. Это была витрина пароходной конторы — «Гамбург — Нью-Йорк. Северо-Германский Ллойд. Прямые рейсы. Третий класс — от 80 рублей». И нарисованный пароход с дымящими трубами, и нарисованная статуя — женщина с факелом в руке, — и нарисованное синее море.

Елена стояла и смотрела на эту витрину. Долго.

— Лена пишет, — сказала она наконец, не оборачиваясь. — Из Rochестера. Зовёт.

— Тебя?

— Нас обеих.

Эмма замерла.

— Отец не отпустит.

— Знаю, — сказала Елена.

Она постояла ещё минуту. Потом отвернулась от витрины, и они пошли дальше.

У Пассажа Эмма поняла, что Елена ушла вперёд, — к конке, — а сама она остановилась. Потому что у служебного входа на Итальянской, у фонаря, в мокром снегу, стоял человек в тёмном пальто и мягкой шляпе. С зонтом. Он ждал.

Он увидел её и улыбнулся. Той же открытой, приятной улыбкой. Подошёл. Раскрыл над ней зонт.

— Барышня, — сказал он мягко. — Вы промокнете. И вы — плакали? Что случилось?

— Друга проводила, — сказала Эмма. — На вокзале. Его выслали.

— Выслали, — повторил он, и лицо у него стало печальным, сочувствующим. — Как это ужасно. Как это несправедливо. Бедная вы моя. Позвольте, я вас провожу. Хоть до угла. Под зонтом.

Елена была далеко — у конки, спиной к ней, не видела.

Эмма посмотрела на него. На его зонт. На его печальное, участливое лицо. На мокрый снег, который падал вокруг, но не падал на неё — потому что над ней был зонт.

Ей было пятнадцать лет. Она проводила последнего друга. Дома её ждал отец.

— До угла, — сказала она.

И пошла рядом с ним по Невскому, под зонтом, в мокром снегу, прижимая к груди Колиного Некрасова, — а он шёл рядом, чуть наклонив к ней голову, и говорил что-то тихое, сочувственное, утешительное, — и фонари расплывались в снегу жёлтыми пятнами, и прохожих было мало, и никто не обернулся им вслед.

В тот вечер он довёл её до угла. Только до угла — и снова приподнял шляпу, и ушёл. Он умел ждать.

Она этого не знала. Она думала, что он просто добрый.



Глава 6. Бал

1. Бархат

Господин Ланге был стар, глух на одно ухо и пах табаком, уксусной кислотой и кошками. Кошек у него было пять, они жили прямо в ателье — на диване для клиентов, на подоконниках, на крышке ящика с пластинками, — и одна, рыжая, огромная, по кличке Бисмарк, любила лежать на нарисованной балюстраде за спиной у снимающихся купчих, и купчихи визжали, и господин Ланге говорил: «Ничего, мадам, на снимке не будет видно, он не шевелится».

Ателье было в Коломне, на Мясной улице, в одноэтажном деревянном доме, почти на окраине, где мостовая кончалась и начиналась грязь. Вывеска облезла. Клиентов было мало: мелкие чиновники, матросы с Новой Голландии, невесты из мещан, которые хотели сняться перед свадьбой, покойники, которых родственники хотели сфотографировать в гробу. Господин Ланге снимал всех одинаково — медленно, тщательно, не торопясь, — и брал недорого.

Елена пришла к нему в конце декабря, последней, после двух десятков отказов, уже ни на что не надеясь. Протянула рекомендательное письмо от Клейнмихеля. Господин Ланге прочёл его, держа очень близко к глазам, потом поднял голову.

— Почему вас уволили? — спросил он по-немецки.

Елена собралась с духом. И сказала правду.

— Жандармы искали в ателье какие-то негативы. Хозяин испугался.

Господин Ланге долго смотрел на неё. Потом хмыкнул.

— Клейнмихель всегда был трус, — сказал он. — Ещё когда мы вместе учились в Лейпциге. — Он отложил письмо. — Покажите руки.

Елена показала. Он повертел её ладони, как когда-то мадам Зильберг вертела ладони Эммы, — только иначе, бережно, с уважением, как вертят хороший инструмент.

— У меня катаракта, — сказал он. — Правый глаз почти не видит. Левый — скоро тоже. Мне нужен ретушёр. Мне нужны руки. А не биографии. Биографии у всех есть, у меня тоже — я в сорок восьмом году в Дрездене на баррикадах стоял. — Он вдруг подмигнул ей здоровым глазом. — Пятнадцать рублей в месяц. Начинайте завтра.

Пятнадцать рублей — это было меньше, чем у Клейнмихеля. Но это были пятнадцать рублей.

Первое жалованье Елена получила в середине января. Принесла домой, отдала матери двенадцать рублей — на долги, на хлеб, на керосин. Мать пересчитала, кивнула и спрятала в шкатулку. А три рубля Елена оставила себе. И на другой день, в воскресенье, вместо того чтобы пойти в синагогу с матерью, взяла Эмму за руку и повела её в Гостиный двор.

— Куда мы? — спросила Эмма.

— Увидишь.

Гостиный двор в январе был похож на огромный каменный улей, в котором жужжали тысячи людей. Под арками, в галереях, в бесчисленных лавках торговали всем, что только есть на свете: мехами, сукнами, шелками, коврами, иконами, самоварами, игрушками, сапогами. Приказчики стояли у дверей и зазывали: «Пожалуйте, барышня! Пожалуйте, сударыня! Всё есть, что душе угодно!» Пахло мехом, воском, кожей, морозом. Елена вела Эмму по Суконной линии, мимо лавок с мужскими тканями, мимо Зеркальной, где в больших зеркалах отражались тысячи огней, — и остановилась у маленькой лавки в углу, на вывеске которой было написано: «Бархаты и плюши. Лионские и московские».

Внутри было темно и тихо, как в церкви. На полках лежали рулоны — тёмные, глубокие, мерцающие, — и пахло чем-то сладким, ванильным. Приказчик, пожилой, с бородой лопатой, поднялся им навстречу.

— Синий, — сказала Елена. — Есть синий? Не очень дорогой.

Приказчик снял с полки рулон и развернул на прилавке. И Эмма перестала дышать.

Бархат был синий. Не голубой, не тёмно-синий — синий, как вечернее небо над Невой в сентябре, когда солнце уже село, а темнота ещё не пришла. Глубокий, мягкий, с тихим отливом, который менялся, когда двигалась рука: то почти чёрный, то почти лиловый, то вдруг вспыхивал, как вода под фонарём. Эмма протянула руку и коснулась его. Он был тёплый. Как живой. Как шёрстка у Бисмарка.

— Московский, — сказал приказчик. — Не лионский, врать не буду. Но хороший. Рубль сорок за аршин. Барышне на платье — аршин шесть надо, ежели с юбкой в пол.

— Шесть аршин — восемь рублей сорок, — сказала Елена. — У меня три.

Приказчик развёл руками.

Елена постояла. Потом сказала:

— А если без шлейфа? Если юбка короче, до щиколотки? И рукава не пышные?

Приказчик прищурился, оглядел Эмму с головы до ног — не так, как охотники у Пассажа, а как оглядывают вешалку, чтобы прикинуть, сколько уйдёт ткани.

— Худенькая, — сказал он. — Ежели без шлейфа да без буфов... На лиф и юбку... Аршина три с половиной. Ну, четыре. Пять шестьдесят.

— Три рубля, — сказала Елена.

— Барышня!

— Три рубля, — повторила Елена. — Это всё, что у меня есть. Это первое жалованье за полгода. Это моей сестре на первое длинное платье. На первый бал в её жизни. Ей пятнадцать лет. Она работает на корсетной фабрике по двенадцать часов в день и ни разу в жизни не надевала ничего, кроме того, что перешиито из маминого.

Приказчик посмотрел на Елену. Потом на Эмму. Эмма всё ещё держала руку на бархате и не могла её снять.

Он вздохнул. Долго, тяжело, как вздыхают купцы, которые знают, что сейчас сделают глупость.

— Четыре аршина, — сказал он. — Три рубля. И чтоб никому не говорили, где брали, а то все придут.

Эмма несла бархат домой, завёрнутый в серую бумагу, прижимая к груди, как когда-то несла Егора через ручей. Всю дорогу молчала. Только на Невском остановилась вдруг, посреди тротуара, и повернулась к Елене.

— Зачем? — спросила она.

— Что — зачем?

— Зачем ты это сделала? Три рубля. Мы должны оптовику. Мама продала серьги.

Елена долго смотрела на неё.

— Потому что тебе пятнадцать, — сказала она. — Потому что мне было пятнадцать, и восемнадцать, и двадцать, — и у меня никогда не было ничего своего. Ничего красивого. Только то, что нужно. Только то, что практично. — Она отвела взгляд. — Я подумала: пусть хоть у тебя будет. Одна вещь. Ни для чего. Просто — красивая. Твоя.

Эмма ничего не сказала. Только прижала бархат крепче.

Масленичный бал в Немецком клубе, куда Елену пригласила её давняя знакомая, фрау Мюллер, учительница музыки, был через пять недель. Пять недель на платье. Эмма шила его ночами, при свече, — после двенадцати часов у мадам Зильберг, после ужина, после того, как отец засыпал. Она умела шить: два года выворачивания перчаток и четыре месяца петель на корсетах сделали её пальцы быстрыми и точными. Но она никогда не шила платья. Никогда

не кроила. Никогда не работала с бархатом, который был капризен, как живое существо, — тянулся, сдвигался, мялся, показывал каждый неверный стежок.

Ей помогла Ривка.

— Дура, — сказала Ривка, когда Эмма в обед показала ей выкройку, нарисованную на обороте старой газеты. — Это не лиф, это мешок. У тебя талии нет на этой выкройке. Дай сюда.

И Ривка, которая три года шила корсеты для генеральш и знала про женские фигуры всё, что только можно знать, взяла карандаш и за десять минут перерисовала выкройку — так, что Эмма ахнула.

— Вот здесь вытачки, — объясняла Ривка, тыча карандашом. — Здесь и здесь. Тогда сядет. Рукав втачной, без буфа, раз ткани мало, — зато узкий, до запястья, это сейчас носят. Ворот — стойка, невысокая. Ты ещё девчонка, тебе вырез не положен, да и не надо, с такой шеей стойка лучше. Юбку — колоколом, по косой, тогда меньше ткани уйдёт и ляжет красиво. А здесь, — она вдруг хитро улыбнулась, — здесь я тебе принесу кое-что.

— Что?

— Увидишь.

Через неделю Ривка тайком, под шалью, принесла из мастерской обрезки — узкие полоски белого батиста и тонкого кружева, которые остались от корсета какой-то графини и которые мадам Зильберг всё равно выбросила бы. «Это на воротник. И на манжеты. Чтоб не совсем по-монашески».

Они шили вдвоём по воскресеньям, у Ривки, — она жила с дядей Шапиро на Подьяческой, в двух комнатах, заваленных шальями, — и Шапиро, сутулый, в котелке, ходил мимо и косился на синий бархат и ворчал, что вот, нынешние девчонки всё на тряпки тратят, а потом однажды остановился и долго смотрел, как Эмма вшивает рукав.

— Это ты? — спросил он. — Та самая? С цветком?

— Я, — сказала Эмма.

Шапиро долго молчал. Потом полез в карман и достал бумажный кулёк.

— На, — сказал он. — Пуговицы. Перламутровые. Восемь штук. Остались от одного заказа. Всё равно никому не нужны.

И ушёл, не дожидаясь благодарности. Ривка проводила его взглядом и тихо засмеялась.

— Совесть, — сказала она. — За рубль. Три года его грызла.

К середине февраля платье было почти готово. Оставалось только подшить юбку и пришить пуговицы. Эмма примерила его однажды ночью, когда все спали, при свече, у маленького зеркальца, которое висело над умывальником, и в котором нельзя было увидеть себя целиком, а только по частям — плечо, рукав, кусочек ворота.

Она видела в зеркальце синий бархат. Белое кружево на воротнике. Перламутровую пуговицу. Свою руку в узком рукаве. Своё лицо над стойкой ворота — совсем другое лицо, не то, что бывало в мастерской, не то, что бывало дома, — удивлённое, почти испуганное, с широко распахнутыми глазами.

Она не знала, красивая ли она. Она никогда об этом не думала — некогда было. Но она знала, что платье — красивое. И что платье — её. Своё. Первое своё за всю жизнь. Не перешитое из мамино, не купленное на вырост, не выданное как форма. Сшитое её руками из бархата, купленного на Еленины деньги, с Ривкиным кружевом и Шапировыми пуговицами.

Это было как цветок в углу шали. Только больше. Гораздо больше. Это было — она сама.

Она стояла у зеркальца, и свеча дрожала, и бархат мерцал то синим, то чёрным, то лиловым, и Эмма вдруг засмеялась — тихо, чтобы никого не разбудить, — засмеялась просто так, от радости, как не смеялась, кажется, с тех пор, как перешла ручей.

2. Кража

Вдову звали Аграфена Петровна, и она была тихая.

Это было первое, что сказал о ней отец, когда в начале января объявил, что они пустят жилищу. В угол, за занавеской, в первой комнате, где спали родители. Три рубля в месяц. Отец сказал: тихая, богомольная, вдова чиновника, рекомендовал дворник. Мать сказала: у нас и так тесно, шесть человек в двух комнатах. Отец сказал: а на что жить? И мать замолчала.

Аграфена Петровна действительно была тихая. Маленькая, сухонькая, лет шестидесяти, в чёрном платье и чёрном платке, с мелкими быстрыми глазами. Она уходила рано утром — «к обеду» — и возвращалась поздно вечером, ела что-то своё, тайком, за занавеской, и молилась вполголоса перед маленькой бумажной иконкой, которую прикрепила к стене. С семьёй почти не разговаривала. Только однажды, увидев, как мать зажигает субботние свечи, перекрестилась испуганно и что-то зашептала. А в другой раз, когда Эмма шила своё платье, остановилась за её спиной и долго смотрела.

— Бархат, — сказала она тихо. — Дорогой.

— Сестра подарила, — сказала Эмма.

— Хорошая сестра, — сказала Аграфена Петровна и перекрестилась. — Дай Бог здоровья.

И ушла за свою занавеску.

Эмма потом вспоминала этот взгляд. Тихий, мелкий, быстрый. Как у мыши, которая смотрит на сыр.

Это случилось в ночь на двадцатое февраля, за пять дней до бала.

Эмма проснулась утром от крика матери. Выбежала в первую комнату. Мать стояла посреди комнаты, растрёпанная, в одной рубашке, и смотрела на угол, где была занавеска.

Занавески не было. Угла не было. То есть угол был — пустой. Ни Аграфены Петровны, ни её узелка, ни бумажной иконки на стене. Только три кнопки торчали в обоях, там, где иконка висела.

— Ушла, — сказала мать. — Ночью. Тихо. Даже не скрипнула.

— Ну и чёрт с ней, — сказал отец, натягивая сапоги. — За январь заплатила, за февраль — нет. Невелик убыток.

И тут Эмма поняла. Не сразу — через секунду.

Она бросилась в свою комнату. К сундуку под кроватью, где лежало платье — почти готовое, завёрнутое в чистую простыню, переложенное газетами, чтобы не мялось. Откинула крышку.

Простыня была на месте. Газеты были на месте.

Платья не было.

Она долго стояла на коленях перед сундуком, держа в руках пустую простыню. Не плакала. Не кричала. Просто стояла и смотрела. Потом медленно, как во сне, начала перебирать газеты — одну за другой, — будто платье могло спрятаться между ними.

— Эмма? — Елена стояла в дверях. — Что?..

Эмма подняла на неё глаза.

Елена посмотрела на пустой сундук. И всё поняла.

— Тихая, — сказала Эмма. Голос у неё был ровный, совсем без выражения. — Богомольная. Дай Бог здоровья.

И только тогда заплакала.

Она плакала так, как не плакала никогда. Ни после ручья. Ни после Гельфман. Ни после разбитых банок. Ни после ареста Северцева. Это было глупо, она знала, что это глупо, — плакать из-за платья, когда кругом такое: аресты, ссылки, Ванька, которого секут, Глашин отец,

который умирает. Из-за тряпки. Из-за куска бархата. Но она ничего не могла с собой поделать. Это был не кусок бархата. Это была первая вещь, которая была её. Не руки — она. Её. И у неё это украли. Так же, как Шапиро украл её цветок, продав втридорога. Так же, как мадам Зильберг крадёт её петли, вычитая за каждую. Так же, как отец крадёт её жизнь, торгуя ею с Рабиновичем.

Её снова украли. Снова. Всегда. Всё, что она делала сама, — всегда кто-то забирал.

Елена села рядом на пол и обняла её. Ничего не говорила. Ждала.

Отец заглянул в дверь, увидел, нахмурился.

— Что ревёшь? — спросил он. — Что пропало?

— Платье, — сказала Елена, не оборачиваясь. — Которое она шила на бал. Бархатное. Жилица украла.

Отец помолчал.

— Бархатное, — повторил он. — Вот. Вот вам. Говорил я — нечего на тряпки тратить. Бог наказал за тщеславие.

И ушёл в лавку.

Эмма перестала плакать. Сразу. Будто кто-то перекрыл кран. Она подняла голову и посмотрела на дверь, в которую вышел отец.

— Бог наказал, — повторила она тихо. — Опять Бог. Гесю Гельфман — Бог наказал. Меня — Бог наказал. А Аграфену Петровну, которая молится перед иконкой и крадёт у девочки платье, — её Бог не накажет?

— Эмма...

— Она перекрестилась, Елена. Когда увидела бархат. Перекрестилась и сказала: «Дай Бог здоровья». А потом украла. — Эмма вытерла лицо рукавом. — У них у всех один Бог. У отца, у жилицы, у Трепова. Бог, который всегда на стороне того, кто сильнее. Или хитрее.

Вечером Елена пришла домой с пакетом. Развернула его на столе.

Ткань. Не бархат — простой шерстяной кашемир, тёмно-синий, почти чёрный. Без отлива, без мерцания. Обычная ткань, из которой шьют платья гувернанткам и экономкам.

— Это всё, что я смогла, — сказала Елена. — Господин Ланге дал вперёд. Рубль двадцать. На четыре аршина хватило.

Эмма смотрела на кашемир. Он был тусклый. Скучный. Чужой.

— Пять дней, — сказала она. — До бала пять дней. Я не успею.

— Успеешь, — сказала Елена. — Выкройка есть. Руки есть. Ривка поможет. Я помогу.

Наутро, в мастерской, Ривка, узнав, выругалась так, что две соседние девушки обернулись, а одна покраснела.

— Вдова! — шипела Ривка, втыкая иглу в атлас с такой силой, будто это была Аграфена Петровна. — Богомольная! Да чтоб ей этот бархат саваном стал! — Потом вдруг замолчала, подумала и сказала совсем другим голосом: — Ладно. Кашемир так кашемир. Кружево ведь осталось? Пуговицы?

— Пуговицы были в шкатулке. Не нашла.

— Хоть что-то. — Ривка снова задумалась. — Слушай. Завтра у нас генеральша Фон-Лаутерберг на примерку. Ей белый корсет с бантами. Там банты — из атласа, голубого, широкого. Мадам всегда кроит с запасом. Остатки — в корзину. — Она понизила голос. — Корзину выносит Матрёна по вечерам. А Матрёна мне должна.

— Ривка, это же...

— Это — мусор, — отрезала Ривка. — Мусор не крадут. Мусор находят. — И подмигнула.

Вечером, после мастерской, Эмма шла домой, и у Казанского собора её окликнули:

— Эммочка!

Глаша. Глаша стояла у колонны, в новом — то есть в другом, чёрном — платке, худая, осунувшаяся, с запавшими глазами. Но улыбалась.

— Глаша! — Эмма бросилась к ней.

Они обнялись. Глаша пахла не луком и кожей, как раньше, а чем-то другим — ладаном и свечами.

— Отец помер, — сказала Глаша просто. — На Сретенье. Похоронили на Митрофаниевском. Вот я теперь и свободная. Ни угла, ни отца. Живу с девушками с фабрики, втроём на одной кровати.

— Глаша...

— Ничего. — Глаша махнула рукой. — Пил он. Бил меня. Деньги отбирал. Отмучился — и я отмучилась. Царство ему небесное. — Она перекрестилась и вдруг полезла за пазуху. — Слушай, я тебе что покажу. Я теперь газету читаю. Сама! Вот!

Она достала смятый газетный лист и развернула его прямо на ступенях собора.

— Вот тут, — ткнула она пальцем. — Я третий день разбираю. Ты послушай. — И начала читать, медленно, по слогам, водя пальцем по строчкам, шевеля губами: — «В О-ре-хо-во-Зу-е-ве... на ма-ну-фак-ту-ре... то-ва-ри-ще-ства... Ни-коль-ской ма-ну-фак-ту-ры... Са-вы Мо-ро-зо-ва... ра-бо-чие... пре-кра-ти-ли ра-бо-ту...» — Она подняла глаза. — Это что значит — прекратили?

— Это значит — забастовали, — сказала Эмма. — Перестали работать. Все вместе.

— Все вместе! — Глаша кивнула с таким видом, будто именно это и хотела услышать. — Тут написано, — она снова уткнулась в газету, — что их восемь тысяч. Восемь тысяч, Эммочка! Ткачей! И что они бросили работу из-за... — Она запнулась. — Из-за штрафов. Это что?

— Вычеты, — сказала Эмма. — Как у мадам Зильберг. Опоздала — вычет. Испортила — вычет. Заговорила — вычет.

— Вот и я подумала! — Глаша хлопнула ладонью по газете. — Вот и я! Там пишут, у них штрафы до четверти жалованья доходили! Четверть! Ты работаешь месяц — а неделю на хозяина. Задаром. За штрафы. Вот они и встали. Все восемь тысяч. Говорят, машины ломали, окна били в конторе, в лавку хозяйскую ворвались. А потом войска пришли. Казаки. Шестьсот человек увезли.

Эмма слушала. Восемь тысяч. Восемь тысяч ткачей — как шестьсот девушек на Васильевском, только в тринадцать раз больше. Все вместе. Все разом. Против вычетов. Не по копейке в Глашин платок — а все сразу, все восемь тысяч, встали и сказали: нет.

— А главные у них, — продолжала Глаша, — два было. Моисеенко какой-то и Волков. Тут написано. Их взяли. Судить будут.

— Повесят? — спросила Эмма.

— Не знаю. — Глаша сложила газету. — Может, и повесят. А может, и нет. Тут написано, что сам Морозов, хозяин, испугался. Что штрафы, может, отменяют. — Она помолчала. — Вот бы и у нас, на Васильевском. Вот бы встать — все шестьсот. И сказать Якову: а ну, хватит. Бауэр-то, может, и сам бы встал с нами. Он добрый.

— А ты бы встала? — спросила Эмма.

Глаша посмотрела на неё. И вдруг засмеялась — коротко, невесело.

— Я? Одна? Меня выгонят — и всё. Пойду на Сенную. Или в деревню, коров доить. — Она спрятала газету за пазуху. — Восемь тысяч — это сила. А одна Глаша — это так. Мусор.

— Мусор не крадут, — сказала Эмма. — Мусор находят.

— Чего?

— Ничего. Это Ривка так говорит. — Эмма помолчала. — Глаша. А у меня платье украли.

И рассказала. Про бархат, про Елену, про Аграфену Петровну и её иконку. Глаша слушала, и лицо у неё темнело.

— Вот гадина, — сказала она наконец. — Вдова. Богомольная. — Она сплюнула на ступени собора, прямо под ноги святому, и тут же испуганно перекрестилась. — Прости Господи. — Потом подумала и спросила: — А бал-то когда?

— В субботу.

— Пойдёшь?

— Не знаю. Платья нет.

— Как это нет? — возмутилась Глаша. — Ты же рукастая. Ты же петли эти свои по двести в день мечешь. Сошьёшь из чего есть. И пойдёшь. И будешь там самая красивая. Назло этой вдове. И назло отцу твоему. И Морозову. — Она подумала. — И всем.

Эмма засмеялась. Впервые за три дня.

3. Вашти

Пурим в тот год выпал на понедельник масленой недели.

Эмма узнала об этом от Ривки — у Зильберг, как у всякой еврейской хозяйки, в Пурим работали полдня, — и удивилась совпадению: у русских — блины, у евреев — гоменташы, треугольные пирожки с маком. У русских — балаганы на Марсовом поле, ряженые, катание с гор. У евреев — ряженые тоже, дети в масках Амана и Мордехая, трещотки, которыми гремят, когда читают имя злодея. И у немцев — Fasching, карнавал, тот самый бал в клубе. Три карнавала в одну неделю.

— Весь город с ума сходит, — сказала Ривка. — Раз в году. Все разом. Можно напиться и не каяться. Можно надеть маску и сказать, что думаешь. — Она подмигнула. — Хорошая неделя. Жаль, что одна.

Вечером в воскресенье, накануне Пурима, отец читал Мегилу.

Он делал это каждый год. Это был единственный вечер в году, когда отец становился другим, — не мягче, нет, но как будто выше. Он доставал из сундука свиток — старый, пожелтевший, на деревянном валике, оставшийся ещё от его отца, — разворачивал его на столе при двух свечах, надевал ермолку и читал вслух. Нараспев, на древнееврейском, медленно, рассказываясь. А когда доходил до имени Амана, мальчики — Герман и Егор — изо всех сил крутили трещотки, и отец на миг замолкал, и в глазах его было что-то почти весёлое.

Эмма в детстве любила эту историю. Персидский царь Ахашверош. Злой визирь Аман, который хочет погубить всех евреев. Мудрый Мордехай. И Эстер — прекрасная Эстер, еврейская девушка, которую царь выбрал в жёны, и которая рискнула жизнью, пришла к царю без зова, хотя это каралось смертью, — и спасла свой народ.

Но в этот раз, слушая, Эмма вдруг услышала не Эстер.

Она услышала начало. То, которое отец читал всегда быстро, торопливо, как неважное. Про то, что было до Эстер.

Царь Ахашверош устроил пир. Сто восемьдесят дней пировал. Потом ещё семь дней. И на седьмой день, «когда развеселилось сердце царя от вина», — отец прочёл это на древнееврейском, но Эмма знала текст, она читала его по-немецки, в детской Библии в Кёнигсберге, — царь велел позвать царицу. Царицу Вашти. Чтобы она пришла к гостям — к пьяным князьям, к пьяным вельможам — в царском венце. И показала свою красоту. Как показывают коня. Как показывают драгоценность.

А Вашти отказалась.

Она не пришла.

И царь разгневался. И спросил мудрецов: что сделать с царицей, которая не послушалась? И мудрец сказал: царица оскорбила не только царя, но и всех мужей во всём царстве. Потому

что теперь все жёны узнают, что царица не послушалась мужа, — и тоже перестанут слушаться. Надо её низложить. И издать указ. Чтобы всякий муж был господином в доме своём.

И царь так и сделал. Вашти — исчезла. Из истории. Из свитка. Больше о ней ни слова. А указ разослали по всем ста двадцати семи областям царства, на всех языках.

Отец читал дальше. Про Эстер. Про то, как собрали всех красивых девушек царства, и как их двенадцать месяцев умащивали маслами, и как каждую по очереди приводили к царю, и как Эстер понравилась ему больше всех.

Эмма сидела, не слушая. Она думала о Вашти.

Когда отец кончил, свернул свиток и снял ермолку, — и мальчики, громко хрустя, уже ели гоменташа, — Эмма вдруг спросила:

— Папа. А Вашти была права?

Отец посмотрел на неё. Мать перестала разливать чай.

— Какая Вашти? — спросил отец.

— Царица. Которая была до Эстер. Которая не пошла к пьяным гостям. Она ведь права была? Он же был пьяный. Он хотел её показывать, как лошадь. А она не захотела. Она сказала: нет. И её за это...

— Вашти, — сказал отец медленно, — была непокорная жена. Гордая. Она ослушалась мужа и царя. Мудрецы говорят — она была злая, она заставляла еврейских девушек работать в субботу, и Бог её наказал.

— Этого в Мегиле нет, — сказала Эмма. — Там только сказано, что она не пошла. И всё.

— Мудрецы знают больше, чем написано.

— Мудрецы, — сказала Эмма, — это которые советовали царю? Те самые, пьяные? Которые сказали, что если одна женщина ослушается мужа, то все жёны перестанут слушаться? И надо её убрать, чтобы другим неповадно было?

Отец медленно положил ладони на стол.

— Эмма, — сказала Елена тихо.

— Нет, я хочу понять, — сказала Эмма. Голос у неё звенел. — Мы каждый год читаем эту книгу. Мы её празднуем. А там в начале написано, что пьяный персидский царь издал указ: «Всякий муж — господин в доме своём». Потому что одна женщина отказалась, чтобы на неё гладели. И этот указ — это что, тоже Божье слово? Указ пьяного персидского царя?

Тишина. Мальчики перестали жевать.

— Ты, — сказал отец, — ты смеёшься над Писанием?

— Я не смеюсь. Я спрашиваю. Я просто спрашиваю. Почему мы хвалим Эстер, которая была послушная и красивая, и которую выбрали, как... как выбирают корсет у Зильберг, — а Вашти, которая сказала «нет», — про неё нельзя даже спросить?

Отец встал.

Он стоял над столом, над свитком, над гоменташами, высокий, в праздничном сюртуке, и смотрел на неё, и лицо у него медленно наливалось краской.

— Знаешь, что сказано? — проговорил он тихо. — Сказано: в Пурим надо веселиться. Пить и веселиться — пока не перестанешь отличать «проклят Аман» от «благословен Мордехай». Это мицва. Заповедь. Радость. А ты — ты сидишь за праздничным столом и плюёшь в Мегилу. И в отца. И в Бога.

— Я не...

— Молчи. — Он перевёл дыхание. — Я хотел тебя пустить в субботу. На бал. С Еленой. Сваха сказала — там будет Рабинович. Он хотел посмотреть на тебя. Не на смотринах, в доме, — а так, на людях, в весёлой обстановке. Я думал — пусть посмотрит. Пусть увидит, какая ты. — Он засмеялся невесело. — А ты — вот какая. Вашти. Непокорная. Нет. Никакого бала. Будешь сидеть дома. И молиться. Чтобы Бог простил тебе твой язык.

Он вышел из-за стола. Остановился в дверях. Обернулся.

— Вашти, — сказал он. — Хорошо. Помни, чем кончила твоя Вашти. Её больше нет. Ни в книге. Нигде.

И ушёл в другую комнату.

Эмма сидела за столом. Мать молча убирала посуду. Мальчики доедали гоменташа, не поднимая глаз. Елена смотрела на Эмму — и вдруг, неожиданно, улыбнулась.

Позже, ночью, когда все легли, Елена прошептала из темноты:

— Ты знаешь, что самое смешное?

— Что?

— Что сегодня Пурим. Праздник, когда велено веселиться. Когда велено пить, пока не спутаешь злодея с праведником. Когда все ходят в масках, и всё можно, и всё прощается. — Елена тихо засмеялась. — А тебе запретили танцевать. На Пурим. Это как... как запретить есть на свадьбе.

Эмма лежала, глядя в потолок.

— Он сказал, Вашти больше нет, — проговорила она. — Ни в книге. Нигде.

— Да.

— А я её помню, — сказала Эмма. — Значит, она есть. Пока я помню — она есть.

Елена долго молчала. Потом сказала:

— Спи. Утром на работу.

— Елена.

— Что?

— Я пойду на бал.

Тишина.

— Эмма...

— Я пойду. С тобой или без тебя. Если ты не пойдёшь — я пойду одна. Я дошью платье. И пойду. А если меня поймают — пусть. Пусть бьёт. Пусть хоть убьёт. Но я пойду.

Елена ничего не ответила. Но через минуту Эмма услышала, как она тихо, очень тихо, засмеялась в подушку.

4. Бал

Платье было готово в пятницу, в третьем часу ночи.

Кашемир, тёмно-синий, почти чёрный, — не мерцал, не переливался, не менял цвета. Но Ривкина выкройка села так, что в зеркальце над умывальником Эмма не узнала себя. Узкий лиф с выточками. Узкий рукав до запястья. Невысокая стойка ворота, и на ней — белое кружево от графининового корсета. Белые батистовые манжеты. Юбка колоколом, до щиколотки. А вместо пропавших перламутровых пуговиц — голубой атласный бант на груди, широкий, из обрезков генеральши Фон-Лаутерберг, который Матрёна вынесла из мастерской в корзине с мусором, а Ривка «нашла».

Эмма стояла у зеркальца и смотрела. В нём было видно только плечо, кусочек ворота и бант. Бант был голубой, как небо в марте.

В субботу вечером отец ушёл в синагогу, потом вернулся, поужинал, проверил, что Эмма дома — она сидела у окна с молитвенником, послушная, тихая, с опущенными глазами, — и лёг спать. В десятом часу. Мать легла с ним. Мальчики — ещё раньше.

В одиннадцать Эмма тихо встала с кровати. Елена не спала — лежала, одетая, под одеялом, и смотрела на неё.

— Ну? — шепнула Эмма.

Елена долго молчала. Потом откинула одеяло.

— Ну, — сказала она. — Пойдём, Вашти.

Они одевались в темноте, на ощупь, помогая друг другу застёгивать крючки. Платье Эммы — кашемир с бантом. Платье Елены — её единственное парадное, серое шёлковое, перешитое из маминого. Сверху — шубки. На шею Эмме Елена намотала тот самый серый шарф.

— Опять? — шепнула Эмма.

— Он приносит удачу, — шепнула Елена. — Он Андрея Петровича спас.

— А потом не спас.

— Потом его там не было.

Они вышли через кухню, на чёрную лестницу. Дверь скрипнула. Обе замерли. За стеной всхрапнул отец — и снова затих. Они спустились, держась за перила, в полной темноте, по скользким ступеням, мимо чужих дверей, — и выскочили во двор. Во дворе было холодно и звёздно. Над колодцем двора висел кусочек неба, густо засыпанный звёздами.

На Невском был праздник.

Масленица. Последняя суббота. Ночь, а улица полна народу — гуляющие, ряженые, пьяные, извозчики с бубенцами, сани, разукрашенные лентами. Где-то пели. Где-то играла гармонь. У Аничкова моста двое ряженых — один в медвежьей шкуре, другой в козлиной маске — плясали под балалайку, и вокруг них собралась толпа и хохотала. Пахло блинами, жжёным сахаром, конским навозом и морозом. Звёзды над Невским были огромные, как фонари.

Немецкий клуб был на Мойке — двухэтажный особняк с колоннами, все окна которого сияли. У подъезда стояли кареты и сани. Швейцар в ливрее с галунами распахнул перед ними дверь, — и на них обрушились свет, тепло и музыка.

Эмма остановилась на пороге.

Зал был огромный. Белый с золотом. Колонны, лепнина, зеркала в рост человека вдоль стен. Под потолком — люстры, хрустальные, на сотни свечей, и свет от них дробился в зеркалах, в хрустале, в бокалах на подносах, в украшениях дам, — и казалось, что в зале не сотни, а тысячи огней. На хорах играл оркестр — скрипки, виолончели, флейта, медь, — и музыка поднималась под самый потолок и падала оттуда, как снег.

Людей было много. Немцы — петербургские немцы, аптекари, булочники, часовщики, учителя, инженеры с семьями. Многие — в масках. Fasching. Карнавал. Арлекины, пьеро, коломбины, турки в чалмах, рыцари в картонных латах, пастушки, цыганки. Дамы в бальных платьях — розовых, белых, голубых. Господа во фраках, в мундирах. Девушки в лёгких светлых платьях с цветами в волосах. Гимназисты в форме. И все двигались, говорили, смеялись, — и в центре зала, под люстрами, кружились пары.

Вальс.

Эмма никогда не видела вальса. То есть видела — в окнах, мимоходом, с улицы, когда проходила мимо особняков. Но не так. Не близко. Не изнутри. Пары кружились, как листья в Летнем саду в тот золотой день, — легко, быстро, широко, — платья раздувались колоколами, фалды фраков летели, и всё это двигалось по кругу, под люстрами, под музыкой, как огромное живое колесо.

— Елена! Фрейлейн Гольдман! — К ним пробиралась маленькая полная дама в лиловом, с седыми буклями, — фрау Мюллер, учительница музыки. — Как хорошо, что вы пришли! А это — ваша сестра? Боже мой, какая прелесть! Какой бант! Пойдёмте, пойдёмте, я вас всем представлю!

Эмма не запомнила, кому её представляли. Каким-то дамам, каким-то господам. Кто-то говорил ей комплименты по-немецки — про бант, про «очаровательную простоту». Кто-то сунул ей в руку бокал с лимонадом. Она стояла у колонны, держа бокал, и смотрела на кружащиеся пары, и не могла отвести глаз.

— Танцуете? — спросил кто-то рядом.

Она обернулась. Перед ней стоял гимназист — длинный, нескладный, лет шестнадцати, с прыщами на подбородке и отчаянно красными ушами. Он поклонился — неловко, резко, будто переломился пополам.

— Я... не умею, — сказала Эмма.

— Я тоже не очень, — признался гимназист. — Но мама велела пригласить хоть кого-нибудь. А все другие уже заняты. — Он покраснел ещё сильнее, хотя это казалось невозможным. — Простите. Я не то хотел сказать.

Эмма засмеялась.

— Ничего, — сказала она. — Я понимаю. Меня тоже приглашают, когда все другие заняты.

Она поставила бокал на подоконник и протянула ему руку.

Они танцевали ужасно. Он наступал ей на ноги, она — ему. Они сбивались с такта, путали повороты, налетали на другие пары. Гимназист бормотал «простите, простите», и Эмма смеялась, и он тоже начал смеяться. А потом вдруг — Эмма не поняла, как это вышло, — её ноги сами поймали ритм. Раз-два-три. Раз-два-три. Как петли на шали — петля, накид, две вместе. Как ёлочки на льду — сорок две, ни разу не сбилась. Раз-два-три. И её понесло.

Музыка вошла в неё — как когда-то песни Глаши входили в неё в цеху, как вода в сухую землю. Только сильнее. Она вошла не в уши, а в ноги, в руки, в спину, во всё тело. И тело, которое двенадцать часов в день сидело согнувшись над петлями, которое отец швырял о полки, которое мадам Зильберг вертела, как отрез, а заказчицы не замечали, как вешалку, — это тело вдруг выпрямилось. И полетело. Само. Без её разрешения. Без чьего-либо разрешения.

Зал кружился. Люстры кружились. Зеркала кружились, и в них кружилась она — в тёмно-синем, с голубым бантом, с разлетевшимися из косы светлыми прядями. Гимназист куда-то исчез — или она его отпустила, не заметила. Кто-то другой взял её за руку. Потом — ещё кто-то.

Она танцевала со всеми.

С Еленой — сёстры кружились вдвоём, смеясь, как когда-то бегали по набережной. С толстым пожилым аптекарем, который пыхтел и отдувался, но вёл уверенно, по-старомодному, и после танца поцеловал её руку, чего никто никогда не делал. С господином Ланге — он пришёл тоже, во фраке, который был ему мал, и танцевал медленно, торжественно, почти не видя, куда ступает, и говорил: «Вы — как моя дочь. Тридцать лет назад. В Дрездене». С арлекином в маске, который оказался девушкой, переодетой в мужское, и хохотал басом. С каким-то студентом-немцем, рыжим, похожим на Мишу Рогова. Снова с гимназистом, который осмелел и больше не наступал на ноги.

Кадриль. Полька. Мазурка — она не знала мазурки, но её научили на ходу, и она танцевала, топая каблуками, как топала Глаша, когда пела злое. Снова вальс. Снова. Снова.

Дело было не в кавалерах. Она не запоминала их лиц. Не помнила, кто был следующим. Дело было в другом. В том, что она двигалась — и это было её движение. Её. Не отцовское, не Зильберг, не Шапиро. Никто не мог вычесть из этого танца ни копейки. Никто не мог его украсть, как Аграфена Петровна украла бархат. Никто не мог сказать: «Твои только ноги». Потому что это были не ноги. Это была она. Вся. Целиком. Как цветок в углу шали. Как ГЛАФИРА на изнанке перчатки. Как «я — есть». Только больше. Гораздо больше. Это было — как если бы весь цветок вырос из угла и заполнил всю шаль, весь город, весь мир.

Где-то посреди ночи — она не знала, который был час, — Елена схватила её за руку между танцами.

— Эмма! Эмма, ты вся мокрая! Ты красная! Отдохни! Сядь!

— Не хочу! — Эмма засмеялась, задыхаясь, вырываясь. — Не хочу сидеть! Я буду танцевать!

— Ты упадёшь!

— Пусть! — крикнула Эмма, и несколько человек обернулись. — Буду танцевать! Буду танцевать до смерти!

И снова умчалась в круг.

Где-то в середине ночи, после мазурки, она остановилась у колонны отдышаться — и мельком, краем глаза, увидела в дверях зала, за спинами гостей, знакомую фигуру. Тёмное пальто. Мягкая шляпа в руке. Аккуратные усики. Он стоял в дверях и смотрел на неё — не танцевал, не входил, просто стоял и смотрел, и на лице у него было то самое выражение, которое она так хорошо знала: печальное, внимательное, участливое.

Но она не узнала его. Не успела. Не захотела. Музыка снова началась — вальс, — и кто-то взял её за руку, и она закружилась, и зал закружился, и лицо в дверях смешалось с сотней других лиц и исчезло.

Ей никто не был нужен. В эту ночь — никто. Ни Северцев, ни Коля, ни отец с его Рабиновичем, ни человек с зонтом у фонаря. Никто, кто бы её выслушал, понял, назвал необычной. Ей был нужен только этот зал, и эта музыка, и это движение, и это чувство — что тело её, что жизнь её, что она есть.

Рабиновича на балу она так и не увидела. Может быть, его не было. А может быть, был — и смотрел на неё из какого-нибудь угла, тридцативосьмилетний вдовец с москательной лавкой, — и видел, как она танцует, растрёпанная, красная, хохочущая, с разлетевшимися волосами, — и думал о чём-то своём. Она этого никогда не узнала. И никогда не хотела узнать.

5. Рассвет

Они вышли из клуба в шестом часу утра.

Оркестр уже ушёл. Свечи в люстрах догорали. Последние гости разбирали шубы в вестибюле, зевая, перешучиваясь, — арлекины сняли маски, пастушки потеряли посохи, рыцари несли картонные латы под мышкой. Фрау Мюллер расцеловала обеих сестёр в щёки и сказала, что они были «очаровательны, просто очаровательны», и что Эмма должна непременно придти ещё, на Пасху будет вечер. Господин Ланге, уже в пальто, поцеловал Эмме руку — второй раз за ночь — и сказал по-немецки, тихо: «Танцуйте, дитя. Пока можете — танцуйте. Потом жизнь отберёт».

Улица встретила их тишиной и холодом.

Ночь кончалась. Небо над Мойкой было ещё тёмное, но на востоке, над крышами, уже проступала бледная, серо-зелёная полоса. Звёзды гасли одна за другой. Фонари ещё горели, но уже не нужны были, и свет их казался жёлтым и усталым. Снег под ногами скрипел. Из рта шёл пар.

Эмма шла и не чувствовала ног. Они гудели, болели, горели в тесных туфлях, которые ей одолжила Ривка, — но она их не чувствовала. Она вообще ничего не чувствовала, кроме того, что внутри у неё всё ещё играла музыка. Раз-два-три. Раз-два-три.

Они шли не по Невскому, а коротким путём — через Марсово поле. Там стояли масленичные балаганы — целый город из досок и холста, раскрашенный, увешанный флагами, вывесками, лентами. Сейчас он спал. Карусели неподвижны. Качели повисли на цепях. Ледяные горы — высокие деревянные помосты, политые водой, с которых днём, визжа, катались на санках, — блестели в полутьме, как сахарные. На вывесках балаганов — нарисованные силачи, великаны, русалки, дрессированные медведи, «Сражение под Плевной», «Кит-рыба, пойманная в Белом море». Ветер шевелил холщовые стены. Где-то в глубине балаганного города лаяла собака.

И вдруг из-за одного балагана вышел старик с лотком и самоваром на ремне. Первый торговец. Раннее утро.

— Блины! — крикнул он хрипло, увидев их. — Блины горячие, барышни! С мёдом, с маслом, с икоркой! Последний день масленой — грех не поесть!

Сёстры переглянулись. И засмеялись.

У Елены нашлось две копейки. Им дали по блину — горячему, тонкому, промасленному, обжигающему пальцы, — и по стакану сбитня из самовара, сладкого, пахнущего мёдом и пряностями. Они стояли посреди пустого Марсова поля, среди спящих балаганов, на рассвете, в бальных платьях под шубками, и ели блины, и пили сбитень, и смеялись — неизвестно над чем, просто так, — и старик-торговец смотрел на них и тоже ухмылялся в бороду.

— С бала, что ль, барышни? — спросил он.

— С бала, — сказала Эмма.

— И как, весело было?

— Весело, — сказала Эмма. — Очень. Самое весёлое в жизни.

— Ну и слава Богу, — сказал старик. — Хоть кому-то весело. — И крикнул им вслед, когда они пошли дальше: — Прощёное воскресенье завтра! Не забудьте прощения попросить!

— У кого? — крикнула в ответ Эмма.

— А у всех! — сказал старик и захохотал.

Они побежали. Через Марсово поле, через Лебяжью канавку, по набережной Фонтанки — бежали, держась за руки, скользя на наледи, как тогда, в первый раз, у Невы, — и солнце вставало у них за спиной, и небо становилось розовым, потом золотым, и Фонтанка лежала подо льдом, и на льду уже появились первые следы — кто-то шёл через реку, рано утром, на работу.

Домой они вошли через чёрную лестницу, в седьмом часу. Отец ещё спал — Эмма слышала его храп из первой комнаты. Мальчики спали. Они на цыпочках прошли через кухню — И остановились.

На кухне, у стола, сидела мать.

Она сидела одетая, в своём домашнем платье, с накинутым на плечи платком, — будто и не ложилась. Перед ней на столе стояла свеча, почти догоревшая. Она подняла голову и посмотрела на них.

Эмма замерла. Елена схватила её за руку.

Мать смотрела на Эмму. На её растрепавшиеся волосы. На красное, горящее лицо. На тёмно-синее кашемировое платье, видимое из-под расстёгнутой шубки. На голубой бант — немного смятый, с одного края распутившийся.

Долго смотрела. Ничего не говорила.

Потом встала. Медленно. Подошла к плите. Разожгла огонь. Поставила самовар. Достала из буфета миску — в ней лежали блины, накрытые полотенцем. Масленичные. Она напекла их вчера вечером, для семьи, на завтра.

Мать положила один блин на тарелку. Поставила тарелку на стол. Перед Эммой. Положила рядом ложку мёда.

И всё. Ни слова. Ни упрёка. Ни вопроса.

Эмма смотрела на блин. Потом на мать. Мать снова села на своё место у стола и смотрела в окно, на светлеющий двор-колодец, — и лицо у неё было спокойное, усталое и какое-то незнакомое. Как будто она тоже о чём-то вспомнила. О чём-то своём. О синем платье, может быть. О том самом, единственном синем платье, в котором она когда-то, в двадцать шесть лет, ждала в приёмной Трепова с восьми утра до четырёх часов дня.

Эмма села. Взяла блин. Он был холодный — вчерашний. Но она съела его до последнего кусочка, обмакивая в мёд, и это был самый вкусный блин в её жизни. Вкуснее, чем горячий, с Марсова поля.

Самовар закипел. Мать налила три стакана чаю. Себе, Елене, Эмме. Они пили молча, втроём, на кухне, в седьмом часу утра прощёного воскресенья, пока за стеной храпел отец.

Потом мать сказала — тихо, не оборачиваясь от окна:

— Идите спать. Час есть. Я разбужу.

Эмма легла, не раздеваясь, в кашемировом платье, поверх одеяла. Ноги гудели. Голова кружилась. Внутри всё ещё играла музыка — раз-два-три, раз-два-три — и не хотела умолкать.

Она думала о том, что если у неё когда-нибудь отберут это — эту музыку, этот зал, это чувство, что тело её и жизнь её, — то она не согласится. Ни на что. Ни на какую жизнь. Ни на какое будущее, даже самое светлое, даже стеклянный дворец из четвёртого сна. Если там нельзя будет танцевать — она туда не пойдёт.

Она уснула с этой мыслью. Спала час. Мать разбудила её, как обещала.

А в понедельник утром, в мастерской мадам Зильберг, над корсетом для очередной генеральши, Ривка вдруг сказала уголком рта, не поднимая глаз от петель:

— Гольдман. Твой клерк спрашивал о тебе.

Эмма вздрогнула.

— Когда?

— В пятницу вечером. Когда мы выходили. Тебя не было — ты ушла раньше, платье дошивать. Он подошёл ко мне. Вежливо. Шляпу снял. Спросил: «А где ваша подруга? Барышня Гольдман? Она не больна?» Я сказала — не знаю. А он спросил, не собирается ли она куда-нибудь на масленой. На гулянье, на вечер. Я и ляпнула, дура, что на бал. — Ривка воткнула иглу. — А в субботу ночью — ты не поверишь — я его видела у Немецкого клуба. Мы с дядей мимо шли, от знакомых, с пуримского ужина. Он стоял на другой стороне улицы. Смотрел на окна. На зал. Где все танцевали.

Эмма молчала.

— Гольдман, — сказала Ривка. И подняла глаза. — Я ему сказала «на бал». Но я не сказала, на какой. Откуда он знал, что именно там?

Эмма не ответила.

Она не знала. И от этого ей вдруг впервые стало холодно — не снаружи, а изнутри, там, где ещё вчера играла музыка.



Глава 7. Нева

1. Гостиница

После бала он изменился.

Не сразу — Эмма заметила это не сразу. Он по-прежнему стоял у фонаря на Итальянской, в тёмном пальто и мягкой шляпе, по-прежнему вежливо приподнимал шляпу, по-прежнему говорил негромко и мягко. Но теперь он не говорил о книгах. Теперь он говорил о ней.

— Вы были там, — сказал он в первый же вечер после масленицы. — В Немецком клубе. Я видел. Случайно проходил мимо. Видел вас в окне.

— Ривка сказала, — ответила Эмма.

— Ривка, — повторил он, и что-то быстрое мелькнуло в его лице и тут же исчезло. — Ваша подруга очень... наблюдательна. — Он помолчал. — Вы так танцевали. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так танцевал. Как будто вы горели.

Эмма не знала, что ответить. Ей было неловко. Ей было — впервые с ним — не по себе. После того, что сказала Ривка в понедельник, — «откуда он знал, что именно там?» — она смотрела на него иначе. Внимательнее. И видела то, чего не видела раньше. Что улыбка у него не доходит до глаз. Что глаза у него — светлые, водянистые — всё время немного двигаются, будто что-то высчитывают. Что он всегда стоит так, чтобы оказаться между ней и улицей.

Она стала уходить раньше. Через другую дверь, через Пассаж, через галерею, мимо витрин, на Невский — чтобы не проходить мимо фонаря. Две недели она его не видела. Ей стало легче. Она почти забыла.

А в середине марта он ждал её на Невском. У самого выхода из Пассажа. Там, где она его не ждала.

— Барышня Гольдман, — сказал он. И не улыбнулся. Лицо у него было серьёзное, озабоченное. — Простите. Я не хотел вас пугать. Я понимаю, вы меня избегаете. Я, наверное, был навязчив. Простите. Но мне нужно вам сказать. Это важно. Это не обо мне — о вашем друге.

— О каком друге?

Он понизил голос.

— О студенте. Который в крепости. Северцев, кажется?

Эмма замерла.

Она никогда — никогда — не говорила ему этого имени. Никогда. Она говорила об отце, о мастерской, о книгах. Однажды, в ноябре, когда провожала Колю, — сказала, что друга выслали. Но не Северцева. Не крепость.

— Откуда вы знаете? — спросила она.

— У меня есть знакомый, — сказал он ещё тише. — В жандармском управлении. Он иногда останавливается у нас в гостинице. Мы... приедем. Я как-то упомянул, что знаю одну барышню, сестра которой работала в ателье Клейнмихеля. Он сказал — а, это где искали негативы Северцева. — Он помолчал, глядя на неё. — Он сказал ещё кое-что. О суде. О том, что ждёт вашего друга. И... он может передать записку. В крепость. Если вы захотите. Он мне обязан. Это можно устроить. Я подумал — вы должны знать.

Эмма стояла посреди Невского, в толпе, в мартовской слякоти, и не могла пошевелиться.

Записка. В крепость. Северцеву. Который сидит в одиночке в Трубецком бастионе, без свиданий, без передач. Которому, может быть, грозит виселица. Которому можно написать — «мы помним», «Елена держала слово», «шарф у меня», — и он прочтёт, и узнает, что не один.

— Что вы знаете о суде? — спросила она. Голос не слушался.

— Не здесь, — сказал он, оглянувшись на прохожих. — Это нельзя на улице. Вы понимаете. — Он помолчал. — У меня в комнате есть бумага. Он мне написал — что можно передать, в каком виде, чтобы цензура пропустила. Я вам покажу. Это на минуту. Гостиница — вот, за углом. Я там живу, при службе. Вы прочтёте, напишете записку, я передам. И всё.

Эмма смотрела на него.

Внутри у неё что-то кричало. Тихо, глубоко, неразборчиво — как кричит человек, которого заперли в подвале. Она слышала этот крик. И слышала Ривку: «Такие слушают, пока им нужно». И слышала Северцева, давно, в мастерской: «Если меня возьмут, вас могут спросить». И видела перед собой серые усталые глаза человека, которому можно написать «мы помним».

Ей было пятнадцать лет. Она не знала, что крик в подвале — это и есть то, что надо слушать. Она думала, что это страх. А страх, как учили её Засулич, и Перовская, и Вера Павловна, и вся её короткая жизнь, — страх надо преодолевать.

— На минуту, — сказала она.

— На минуту, — сказал он.

Гостиница была за углом. Служебный вход со двора. Узкая лестница, покрытая потёртой ковровой дорожкой. Запах — табак, воск, чужие духи, капуста с кухни. Третий этаж. Коридор, длинный, полутёмный, с одинаковыми дверями. Газовый рожок в конце коридора, который шипел. Он шёл впереди и не оборачивался. Остановился у предпоследней двери. Достал ключ.

Открыл.

— Прошу, — сказал он.

Она вошла.

Дверь закрылась за её спиной. Щёлкнул ключ.

Потом был Невский.

Она не помнила, как вышла. Не помнила лестницу, двор, ворота. Помнила только, что вдруг оказалась на Невском — в толпе, в свете фонарей, в шуме, — и стояла посреди тротуара, и люди обходили её, задевали плечами, кто-то выругался. Она не слышала. То есть слышала — но издалека, как через толстое стекло, как через воду. Звуки были отдельно. Она — отдельно.

Она пошла.

Она не чувствовала ног. Ноги шли сами, она смотрела на них сверху, как смотрят на чужое. Ботинки. Мокрые. Шаг. Ещё шаг. Мостовая. Слякоть. Фонарь. Ещё фонарь.

Она не чувствовала рук. Не чувствовала лица. Не чувствовала холода, хотя было холодно, — мартовский ветер с Невы, сырой, пронизывающий, бил в лицо, и она видела, как у прохожих краснеют щёки, как они прячут носы в воротники, — а ей не было холодно. Ей не было ничего. Её не было.

Была только одна мысль. Одна. Странная. Она повторялась и повторялась, как стук колёс в поезде, когда она бредила по дороге из корчмы.

Бумаги не было. Бумаги не было. Бумаги не было.

Никакой бумаги. Никакого знакомого в жандармском управлении. Никакой записки в крепость. Ничего не было. Было только — ключ. И щелчок. И его лицо — уже не печальное, не участливое, не внимательное. Другое. Лицо, которое она не будет помнить. Которое она заставит себя не помнить. Которое будет приходить к ней во сне ещё много лет — и каждый раз она будет просыпаться с криком, и не помнить, отчего.

Она шла по Невскому. Мимо Казанского собора, где они встречались с Глашей. Мимо Гостиного двора, где Елена купила ей бархат. Мимо Аничкова моста, где на масленице плясали ряженые. Город был тот же. Фонари те же. Витрины те же. А её — не было.

Где-то у Знаменской площади — она не помнила, как туда попала, это было совсем не в ту сторону, — она остановилась. Постояла. Повернула обратно. И пошла к Неве.

Почему к Неве — она не знала. Ноги шли.

Набережная была пустая. Темно, ветер, фонари вдоль парапета. Нева лежала подо льдом — серым, уже подтаявшим, весенним, с тёмными промоинами. За рекой, в темноте, угадывались бастионы крепости. И шпиль — золотой, тонкий — блестел над ними в каком-то случайном свете, как игла.

Там, за этими стенами, сидел Северцев. В одиночке. Не зная, что сегодня его имя — его имя — стало ключом, который щёлкнул в замке.

Эмма стояла у парапета. Держалась за гранит. Гранит был холодный. Как тогда, в первый раз, когда Елена привела её сюда, в шарфе, и она думала: «Моя Нева».

Она смотрела на чёрные промоины во льду.

Это было бы так просто. Перелезть через парапет. Спуститься на лёд. Дойти до промоины. Там вода. Чёрная. Быстрая. Холодная, как в ручье. Холоднее. Она уже была в такой воде. Она знает, как это. Сначала больно — а потом ничего.

Ничего. Как сейчас.

Она стояла. Ветер бил в лицо. Шпиль блестел.

Она не знала, сколько стояла. Может быть, минуту. Может быть, час.

А потом — она так никогда и не поймёт почему, — она вспомнила Егора. Маленького Егора, у неё на руках, посреди ручья, в одеяле. Как он сказал ей в ухо: «Эмма. Я выиграл?» И она ответила: «Ты выиграл. Ты самый лучший разбойник».

Она не перелезла через парапет.

Она повернулась и пошла домой.

2. Молчание

Она пришла домой в одиннадцатом часу. Отец уже спал. Мать — тоже, или делала вид. Елена сидела на кухне, одетая, со свечой, — ждала.

— Где ты была? — спросила Елена. И увидела её лицо. И замолчала.

Эмма прошла мимо неё. В комнату. Легла на кровать, не раздеваясь, лицом к стене.

Елена пришла через минуту. Села рядом. Положила руку ей на плечо.

Эмма вздрогнула всем телом — так, будто её ударили, — и отодвинулась к стене.

Елена убрала руку.

— Эмма, — шёпотом. — Что случилось?

Эмма молчала.

— Эмма. Скажи мне. Что бы ни было — скажи. Я не скажу отцу. Никому не скажу. Только скажи.

Эмма молчала.

Она не могла сказать. Не потому, что не хотела — потому, что не было слов. Она искала их — в русском, в немецком, в идише, в тех книгах, которые прочла, — и не находила. Не было слов для этого. Были слова для «украли» — у неё украли платье, цветок, петли. Были слова для «высекли» — высекли Ваньку, Боголюбова, крестьянина у конюшни. А для этого — слов не было. Или были — но такие, которые она не могла произнести. Которые жгли язык. Которые, если их сказать, — станут правдой.

Слово было. Короткое, тяжёлое, из тех, что печатают мелким шрифтом в судебной хронике, между кражей шубы и пожаром на Охте. Её изнасиловали. Она знала это слово — по-русски, по-немецки, на идише. Знала, что оно значит. Но не могла приложить его к себе. Даже мысленно. Даже в темноте. Как будто, пока слово не сказано, — того, что было, ещё можно не признавать.

Елена сидела рядом всю ночь. Не трогала её больше. Просто сидела. Эмма слышала её дыхание. Под утро Елена тихо заплакала. Эмма слышала и это. И не повернулась.

Утром она встала, умылась, оделась, пошла в мастерскую. Как всегда. Петли. Сто. Двести. Атлас, китовый ус, планшетки. Она работала, не поднимая головы. Мадам Зильберг вычла у неё за испорченный атлас — она проткнула ткань иглой насквозь, сама не заметив. Эмма не возразила.

Ривка посмотрела на неё один раз. Долгим взглядом. Потом опустила глаза к работе. И ничего не спросила.

А вечером, когда мастерская закрывалась, Ривка взяла её под руку на лестнице.

— Пойдём, — сказала она. — Я тебя провожу.

— Тебе не по дороге.

— Мне по дороге, — сказала Ривка. — С сегодняшнего дня — по дороге.

И проводила. До самого дома на Песках. Через весь Невский. Молча. Держа её под руку. И на следующий вечер — тоже. И на следующий. Каждый вечер, три месяца, Ривка шла с ней до дома, хотя жила на Подъяческой, в противоположной стороне, и потом шла обратно одна, в темноте, через весь город.

Она ничего не спрашивала. Ни разу. Только однажды, в апреле, уже у самого Эмминого подъезда, сказала, глядя в сторону:

— Его нет больше. В «Европейской». Я спросила у швейцара. Уволился. Две недели как. Уехал. В Москву, говорят. Или в Варшаву.

Эмма ничего не ответила.

— Я тебе говорила, — сказала Ривка тихо. — Я говорила. — И вдруг голос у неё сорвался. — Я говорила, Гольдман! Я же говорила!

Она отвернулась. Эмма видела, как трясутся у неё плечи.

Тогда Эмма — впервые с того вечера — протянула руку и коснулась другого человека. Положила ладонь Ривке на плечо. Ривка накрыла её ладонь своей. Они постояли так у подъезда. Потом Ривка ушла.

Весна прошла мимо. Эмма её не заметила. Лёд на Неве сломался, пошёл, ушёл в залив — она не ходила смотреть. Зазеленели деревья в Летнем саду — она не ходила туда. Глаша приходила к Казанскому по воскресеньям — Эмма приходила тоже, сидела рядом с ней на ступенях, слушала, как Глаша читает по слогам газету, кивала, — и уходила. Глаша смотрела ей вслед с недоумением. Однажды спросила: «Эммочка, ты больна, что ль?» Эмма сказала: «Да». Глаша перекрестила её.

Ночами она не спала. А когда спала — ей снился коридор. Длинный, полутёмный, с одинаковыми дверями, с шипящим рожком в конце. И она шла по нему, и не могла остановиться, и знала, что в конце — дверь, и что дверь откроется, и что за ней... Она просыпалась. Всегда до того, как открывалась дверь. С криком, которого не было слышно, — крик застревал в горле. Елена, если не спала, садилась к ней на кровать. Не трогала. Просто сидела рядом.

Хуже всего было с телом.

Её тело — то самое тело, которое месяц назад кружилось в зале под люстрами, которое летело в вальсе, которое она впервые почувствовала своим, — стало чужим. Хуже, чем чужим. Оно стало ей противно. Она не могла смотреть на себя в зеркальце над умывальником. Мылась по три раза в день — в тазу, холодной водой, тёрла кожу жёсткой мочалкой до красноты, до крови, — и всё равно оставалось чувство, что что-то прилипло к ней и не смывается. Синее кашемировое платье с голубым бантом она свернула и засунула на самое дно сундука. Под всё. Чтобы не видеть.

Она больше не хотела танцевать. Не хотела ничего.

И всё время — днём, над петлями, ночью, в темноте, — она думала об одном: кому сказать?

Она перебирала. Методично, как пересчитывала медяки в Глашином платке.

Отцу? Она представляла его лицо. Его белое лицо, как тогда, у Летнего сада. «Распутная». «Я говорил». «Сама виновата — шлялась». Он убьёт её. Или — хуже — не убьёт, а выдаст за Рабиновича на следующей же неделе, пока никто не узнал, «пока не поздно». Или выгонит на улицу. «Не потерплю распутной дочери».

Матери? Мать промолчит. Мать всегда молчит. Мать стояла на коленях перед Треповым и называла это милостью. Мать скажет — «молчи». «Это не наше дело». Как тогда, в Попелянах, у конюшни, закрывая ей глаза ладонью.

Раввину? Она видела раввина один раз, в синагоге, на Йом Кипур, — старый, седой, строгий. Она представила, как приходит к нему. И что он говорит. Она знала, что он скажет. Он скажет то, что говорит Писание. Что девица, которая пошла одна в комнату к мужчине, — сама виновата. Что надо было кричать. Что надо было не ходить. Что теперь она — порченная. Что теперь её никто не возьмёт. Что надо скорее выдать замуж — за вдовца, за старика, за кого угодно, кто согласится, — и молчать всю жизнь.

Полиции? Она засмеялась — один раз, ночью, в подушку, — так страшно, что Елена проснулась. Полиции. Околоточному с рыжими бакенбардами, который каждый месяц берёт у отца взятку. Городовым, которые разгоняют студентов. Жандармам, которые увели Северцева, которые обыскивали ателье, которые соврали Елене, что он «дал показания». Тому самому «знакомому в жандармском управлении», которого, может быть, и не было, — а может быть, и был. Она пойдёт к ним — и скажет: «Меня...» Что они сделают? Посмеются. Запишут в книгу. Спросят — а зачем ты, жидовка, пошла в гостиницу? А не связана ли ты, жидовка, с государственными преступниками? А откуда ты знаешь фамилию Северцев?

Суду? Присяжным? Как Вера Засулич? Её оправдали — двенадцать купцов и чиновников. Но Засулич стреляла в генерала. Это было громко. Это видел весь Петербург. А она — кто она? Девчонка с корсетной фабрики. Кто её будет слушать?

Царю-батюшке? Глашину помазаннику, которому кричали «ура» на коронации? Ему подать прошение? Встать на колени, как мать перед Треповым?

Богу?

Она лежала в темноте и думала о Боге. О папином Боге, который велел бить детей — «кто жалеет розги». О Боге Аграфены Петровны, перед которым та крестилась, прежде чем украсть платье. О Боге, который «наказал» Гесю Гельфман, отобрав у неё ребёнка. О Боге, который в Мегиле позволил пьяному царю издать указ, чтобы «всякий муж был господином в доме своём». О Боге, который сегодня — где он был? Где он был, когда щёлкнул ключ?

Никому.

Некому.

Ни одной власти — ни отцовской, ни раввинской, ни полицейской, ни царской, ни Божьей — не было для неё. Ни одна не защитит. Ни одна не выслушает. Все они — все до одной — скажут одно и то же: сама виновата. Молчи. Терпи. Так заведено.

Испокон веку, как сказал Петрушка.

Все они были одно. Как тогда, в цеху, когда она сидела рядом с Глашей с письмом про Ваньку и поняла, что Трепов, и урядник, и старшина, и отец — это одна цепь. Теперь она поняла ещё. Что эта цепь не только сечёт. Она ещё и молчит. Она ещё и защищает своих. Того, кто сверху, — защищает. А того, кто снизу, — не видит. Или видит — и говорит: сама виновата.

Защиты сверху — нет. Никакой. Никогда.

Есть только — свои. Елена, которая сидит рядом всю ночь и не трогает. Ривка, которая каждый вечер идёт через весь город в противоположную сторону. Глаша, которая крестит её на ступенях собора и не спрашивает.

Свои.

Она не знала ещё, как это называется. Не знала слова. Слово придёт потом — через четыре года, в Нью-Йорке, в кафе Сакса на Саффолк-стрит, из уст человека с горящими гла-

зами и разбитым сердцем. Но мысль — мысль пришла сейчас. В эту ночь, в мае 1885 года, в комнате с окном на двор-колодец, на Песках, в Петербурге. Ей было пятнадцать лет и одиннадцать месяцев.

Ещё через сорок пять лет, сидя в маленьком доме в Сен-Тропе, у окна на море, она будет писать книгу о своей жизни. И дойдёт до этой страницы. И долго будет сидеть над ней. И напишет коротко — несколько строк, без подробностей, без жалоб, без имени, — о гостиничном клерке, о шоке, о том, что потом всю жизнь мужчины будут вызывать в ней два чувства сразу, два огня, тягу и отвращение, — и никогда одно без другого.

А потом перейдёт к следующей странице. Потому что жизнь — длинная. И в ней было много другого.

Белые ночи пришли в июне. Те же самые, что три года назад, — когда ей исполнилось тринадцать, и Северцев подарил ей «Отцов и детей», и они с Еленой шли домой по набережной, и было светло, как днём, и она подумала: «В этом городе даже ночь не умеет быть тёмной».

Теперь она сидела у окна до утра, глядя на бледное, жемчужное, бессонное небо над колодцем двора. И думала, что ошиблась тогда. Ночь в этом городе умеет быть тёмной. Даже когда светло.

Пятнадцатого июня ей исполнилось шестнадцать.

Никто не вспомнил. Только Елена утром молча положила ей на подушку маленький свёрток. В нём был тот самый серый шарф — выстиранный, с аккуратно подшитой бахромой, там, где она была порвана.

3. Письмо из Рочестера

Письмо пришло в октябре, в дождь.

Лена, старшая сестра, писала редко — раз в полгода, — и письма её были короткие, сухие, на смеси идиша и плохого немецкого: жива, здорова, муж работает, дом снимаем, погода холодная. Но это письмо было длинное. Три листа, исписанных мелким неровным почерком, с кляксами, с зачёркиваниями. Мать прочла его вслух за ужином — и голос у неё на середине дрогнул.

Лена была беременна. Первым. Должна была родить в марте. Муж, Альберт, — жестянщик, работал на заводе — зарабатывал мало, а теперь завод закрылся, и он ищет работу. Лена одна. Ей страшно. Она не знает языка — то есть знает немного, но не так, чтобы говорить с докторами. Она не знает никого. Она просит — умоляет — чтобы Елена приехала. Хоть на год. Хоть на полгода. Помочь с ребёнком. Помочь деньгами — в Америке, писала Лена, ретушеры получают в три раза больше, чем в Петербурге, она узнавала. Билет она оплатит — то есть половину, сколько сможет, у неё отложено. «Приезжай, Елена. Ради Бога. Ты мне нужна».

Мать опустила письмо. Отец молчал.

— Ну что, — сказал он наконец. — Пусть едет. Раз сестре плохо. Елене двадцать четыре — пора и самой. Может, там и мужа найдёт. Там, говорят, всех берут. И без приданого.

Елена сидела, глядя на письмо в руках матери. Лицо у неё было неподвижное. Эмма смотрела на неё — и вдруг увидела, как у Елены медленно, незаметно, начинают светиться глаза.

Ночью Елена сказала в темноте:

— Я поеду.

— Я знаю, — сказала Эмма.

— Я поеду, — повторила Елена, будто пробуя слова на вкус. — Сама. Я выбираю. Первый раз в жизни — я выбираю. Не отец, не мама, не Бабушка. Я.

— Я знаю.

— Пять лет назад я не поехала. Тогда. На берегу. Он сказал «поедем» — и я не поехала. А теперь — поеду. — Голос у неё дрогнул. — Это как будто... как будто тот поезд опять пришёл. Через пять лет. Понимаешь?

Эмма лежала, глядя в потолок. Потом сказала — тихо, но так твёрдо, что сама удивилась:

— Я с тобой.

Тишина.

— Эмма...

— Я еду с тобой. Я не останусь. Я не могу здесь больше. Не могу. — Она села на кровати. — Елена, если ты уедешь, а я останусь — я умру. Я не знаю как, но умру. Здесь. В этом городе. С Рабиновичем. С мастерской. С этим... — Она не договорила. — Я поеду с тобой.

Елена долго молчала. Потом встала, пересекла комнату, села на край Эмминой кровати. Не тронула её — Эмма до сих пор вздрагивала от прикосновений, — но села так близко, что Эмма чувствовала её тепло.

— Отец непустит, — сказала она.

— Знаю.

— Весной свадьба. Он уже сговорился. Рабинович приходил в лавку на прошлой неделе. Они пили чай. Я видела.

— Знаю.

— Что ты сделаешь?

Эмма помолчала.

— Не знаю ещё, — сказала она. — Но я поеду.

Отец отказал в тот же вечер, когда Елена сказала ему. Не криком — спокойно. Это было хуже.

— Елена пусть едет, — сказал он. — Елена взрослая, Елена своё отработала. А эта — нет. Эта — моя. Ей шестнадцать. В марте — свадьба. Рабинович ждать не будет. Сговорено. Задаток взят.

— Задаток? — переспросила Эмма.

Отец посмотрел на неё — тяжело, исподлобья.

— Сто рублей, — сказал он. — Он дал сто рублей. В счёт будущего. Чтобы мы не голодали до весны. Чтобы ты не шлялась по фабрикам. Ты думаешь, на что мы жили последний месяц? На Еленины пятнадцать рублей? На твои сорок копеек?

Эмма стояла и смотрела на него. Сто рублей. Её продали за сто рублей. Задаток. Как продают корову на ярмарке — задаток, а остальное при передаче.

Шапиро платил сорок копеек за шаль. Мадам Зильберг — сорок копеек за сто петель. Рабинович — сто рублей задатка за неё всю. Вот, значит, сколько она стоила целиком. Вот её цена.

И тут же, с ледяной ясностью, она подумала другое. Что Рабинович платит за невесту. За девушку. За то, чего у неё больше нет. Скажи она отцу одно слово — одно, то самое, — и свадьбы не будет. Ни один еврей в Петербурге не возьмёт порченную. Задаток вернут, сваха разнесёт по всем Пескам, отец будет опозорен, мать не посмеет выйти в синагогу, мальчиков будут дразнить. А её саму — отец выгонит. Или запрёт. Или выдаст за первого, кто согласится взять с изъёмом, — за старика, за калеку, за вдовца с шестью детьми — и ещё будет благодарить.

Она могла бы освободиться одним словом. Но это слово стоило дороже, чем сто рублей Рабиновича. Оно стоило всего.

Она промолчала.

Она ничего не сказала. Повернулась и вышла.

Неделю она молчала. Отец, кажется, решил, что она смирилась. Елена тем временем готовилась к отъезду: писала Лене, узнавала про пароходы, про паспорт, про то, как ехать — через Ковно, через Германию, до Гамбурга, оттуда пароходом. Билет третьим классом стоил восемь-

десять рублей. Лена прислала сорок. Сорок у Елены было отложено — она копила с лета, по рублю, по полтиннику, отказывая себе во всём. Восемьдесят. На одного человека.

На двоих — сто шестьдесят. Не считая дороги до Гамбурга.

Эмма считала. Каждую ночь. У неё было — она пересчитала — четыре рубля тридцать копеек. Всё, что удалось утаить от отца за год, по копейке, как когда-то на французскую грамматику. Четыре рубля тридцать копеек. До ста шестидесяти — как до Луны.

В середине ноября, в воскресенье, отец позвал её с собой. Пройтись. Это было так странно, что Эмма сначала не поняла. Отец никогда не ходил с ней гулять. Никогда.

— Пойдём, — сказал он. — Надо поговорить. Без матери. Без Елены.

Они вышли. Был холодный, серый, ветреный день — Нева ещё не встала, но по краям уже схватилась тонким льдом, а посередине, чёрная, тяжёлая, шла быстро, неся первое сало. Ветер с залива бил в лицо так, что слезились глаза. Отец шёл молча, заложив руки за спину. Эмма шла рядом. Они дошли до Дворцовой набережной. Остановились у парапета. Напротив — крепость. Шпиль. Тот самый.

Елена шла следом. Эмма это знала — видела, как сестра, не спросив, накинула шубку и вышла через минуту после них. Она держалась шагах в двадцати. Отец её не замечал.

— Слушай, — сказал отец, глядя на реку. — Я знаю, ты хочешь с Еленой. Я не дурак. Я вижу. Ты всё время смотришь на неё, как собака на хозяина. Ты думаешь — там, в Америке, рай. Что там всё по-другому. — Он помолчал. — Там не рай. Там то же самое. Только по-английски. Те же хозяева. Те же штрафы. Те же околоточные. Лена пишет — Альберт без работы. Вот твой рай.

Эмма молчала.

— А здесь, — продолжал отец, — здесь у тебя будет дом. Свой. Двухэтажный, в Коломне. Лавка. Деньги. Рабинович не пьёт. Не бьёт — я узнавал. Он немолод, да. Но он будет тебя беречь. Ты будешь сыта. Одета. Детей нарожаешь — будешь с детьми. Это — жизнь. Нормальная жизнь. Как у всех. А там — что? Что там, я тебя спрашиваю?

Он повернулся к ней.

— Я тебе добра хочу, — сказал он. И впервые за всю её жизнь в голосе у него было что-то, похожее на мольбу. — Ты понимаешь? Добра. Я — твой отец. Я за тебя отвечаю. Перед Богом.

Эмма смотрела на него. На его красивое, злое, усталое, постаревшее лицо. На седину в усах, которой два года назад не было. На руки за спиной — большие, тяжёлые, — которые швыряли её о полку с вареньем, которые держали её за волосы, которые бросали в печь французскую грамматику.

«Перед Богом».

Она отвернулась от него. Посмотрела на реку.

Нева шла вниз — чёрная, быстрая, с белыми пятнами сала. Под парашетом, у самого гранита, лёд был тонкий, прозрачный. Дальше — вода. Открытая. Холодная, как в ручье. Холоднее.

Она уже стояла здесь. В марте. Ночью. Одна.

Она взялась обеими руками за гранит. И поставила ногу на основание парапета.

— Эмма, — сказал отец. — Ты что?

Она подтянулась. Встала коленом на парапет. Ветер рвал на ней платок, шарф, юбку.

— Эмма! — Голос отца сорвался. — Слезь! Слезь, я сказал!

Она не слезла. Она стояла на коленях на гранитном парапете, над Невой, над чёрной водой, лицом к реке, спиной к отцу, — и сказала, не оборачиваясь, очень спокойно и очень громко, перекивая ветер:

— Если ты меня непустишь — я брошусь. Здесь. Сейчас.

Тишина. Только ветер. Только вода внизу.

— Ты... — сказал отец. — Ты не посмеешь.

— Посмею, — сказала Эмма. — Ты знаешь, что посмею. Ты меня знаешь. Ты всю жизнь говоришь, что я — подменыш. Что я не твоя. Что у меня — дьявол внутри. Ну вот. Дьявол — посмеет.

Позади неё послышался быстрый топот. Елена. Эмма не обернулась.

— Я не выйду за Рабиновича, — сказала она реке. — Никогда. Я не буду жить в Коломне. Я не буду рожать детей человеку, которого не люблю. Я не буду стоять на коленях. Ни перед кем. Я лучше — туда. — Она кивнула на воду. — Там хоть никто не будет за меня отвечать. Перед Богом.

— Эмма, — прошептала Елена совсем рядом. — Эмма, пожалуйста...

— Не трогай меня, — сказала Эмма. — Не трогай. Я не к тебе. Я к нему.

Она медленно повернула голову. Посмотрела на отца.

Он стоял в двух шагах. Белый. Совершенно белый, как тогда, у Летнего сада. Руки его больше не были за спиной — они висели вдоль тела, тяжёлые, беспомощные. Он смотрел на неё. И она видела в его глазах то, чего не видела никогда.

Страх. Не тот страх, что перед околоточным, — когда страх превращается в крик на тех, кто слабее. Другой. Голый. Беззащитный. Страх человека, который вдруг понял, что сейчас может потерять то, что у него есть. И что ни крик, ни кулак, ни Бог, ни Притчи Соломоновы ему не помогут.

Долго. Очень долго. Ветер. Вода.

— Слезь, — сказал отец наконец. Хрипло. Тихо. — Слезь. Езжай.

Эмма не двинулась.

— Езжай, — повторил он. — С Еленой. В свою Америку. К чёрту. Куда хочешь. — Голос у него треснул. — Только слезь. Ради Бога. Слезь.

Она смотрела на него ещё мгновение. Потом медленно сползла с парапета. Встала на тротуар. Ноги не держали — Елена подхватила её, и на этот раз Эмма не отстранилась.

Отец смотрел на неё. Потом отвернулся. И пошёл прочь, по набережной, сгорбившись, не оглядываясь, — пожилой человек в пальто с барашковым воротником, — и ветер трепал полы его пальто.

Дома он не сказал ни слова. Весь вечер. Сидел за столом, смотрел в одну точку. Мать ходила вокруг него на цыпочках. Мальчики молчали.

А перед сном он встал, подошёл к сундуку в первой комнате, долго рылся в нём, достал что-то, завернутое в тряпицу, — и положил на стол. Перед Эммой. Молча.

Эмма развернула. Деньги. Бумажки и серебро. Она пересчитала. Двадцать пять рублей.

— Это не Рабиновича, — сказал отец, не глядя на неё. — Его задаток я верну. С процентами, как-нибудь. Это — моё. Моё собственное. Я откладывал. На... — Он запнулся. — На чёрный день. Ну вот. Он пришёл.

И ушёл спать.

Эмма сидела за столом над двадцатью пятью рублями. Двадцать пять рублей. Отцовские. Свои. На чёрный день.

Она не знала, что чувствует. Благодарность? Ненависть? Жалость? Всё сразу. Как всегда с ним. Как два огня.

Ночью, когда все спали, мать тихо тронула её за плечо.

— Встань, — шепнула она. — Пойдём.

Они вышли в первую комнату. Отец храпел за занавеской. Мать зажгла огарок, поставила на пол, открыла свой сундук — тот самый, где, как она говорила, хранились письма дяди Егора. Долго рылась. Достала пачку писем, перевязанную ленточкой, отложила. Под ними — что-то тёмное, сложенное, пахнущее нафталином.

Она развернула.

Платье. Синее. Шерстяное, старомодное, с высоким воротником и рядом мелких обтянутых пуговиц от горла до пояса. Чуть выцветшее на сгибах. Аккуратно заштопанное в двух местах.

— Это то самое, — сказала мать тихо. — В котором я ходила к Трепову. Я его ни разу больше не надевала. Двадцать лет. Хотела сжечь. Не смогла.

Она протянула его Эмме.

— Возьми, — сказала она. — Перешьёшь. Ты умеешь. Ты рукастая.

— Мама...

— Возьми, — повторила мать. И посмотрела на Эмму — прямо, открыто, тем самым лицом, которое Эмма видела только однажды, на кухне, над гречкой, когда мать рассказывала про Трепова. — Пусть хоть там его кто-нибудь увидит не на коленях.

Эмма взяла платье. Прижала к груди. Оно пахло нафталином, старой шерстью и — совсем чуть-чуть — чем-то ещё. Матерью. Молодой матерью, двадцатилетней, которую она никогда не знала.

Мать закрыла сундук. Задула огарок.

В темноте Эмма слышала, как она тихо плачет.

4. Ковно

Глаша пришла на вокзал.

Эмма не говорила ей, когда поезд, — сказала только, что уезжает, в декабре. Но Глаша, видимо, выпытала у Ривки, или у Елены, или у кого-то ещё, — и пришла. Стояла на перроне Варшавского вокзала в своём чёрном платке, в рваной шубейке, с красным от мороза носом, и, увидев Эмму, сначала замахала руками, а потом вдруг застеснялась и опустила их.

— Вот, — сказала она, подходя. — Пришла. Проводить. Ты же не сказала когда. Я у Ривки узнала.

— Глаша...

— Ничего, ничего. — Глаша махнула рукой и полезла за пазуху. — На, вот. Это тебе. От Ваньки.

Она достала что-то маленькое, завернутое в чистую тряпицу. Эмма развернула.

Свистулька. Ивовая, самодельная, длиной в палец. С тремя дырочками. Кора на ней местами облупилась, а в одном месте было вырезано — неумело, ножиком — что-то вроде буквы. «Э»? Или «В»?

— Он прислал, — сказала Глаша. — В письме. Ванька. Я ему написала — сама, слышь, сама написала, своей рукой! — что ты в Америку уезжаешь. Та, что меня буквам научила. И что ты ему деньги собирала, когда его второй раз высечь хотели. Он, дурак, четыре месяца молчал после той порки. А тут — прислал. И велел в письме передать: «Той, что буквам учит». — Глаша шмыгнула носом. — Он её сам вырезал. Это первая, что он после порки вырезал. До того — не мог. Руки не шли. А тут — вырезал. Для тебя.

Эмма смотрела на свистульку. Поднесла к губам. Дунула.

Свистулька пискнула — тонко, неуверенно, — как птица, которая только учится петь.

Глаша засмеялась сквозь слёзы.

— Вот, — сказала она. — В Америке свистеть будешь. Чтоб нас помнила.

— Глаша, — сказала Эмма. И больше ничего не смогла сказать. Только обняла её — крепко, изо всех сил, как Глаша всегда обнимала её, — и Глаша охнула, засмеялась и обняла в ответ, и они стояли так посреди перрона, в паровозном дыму.

— Учи там кого-нибудь, — сказала Глаша ей в ухо. — Слышь? Буквам. Там, небось, тоже неграмотные есть. Учи.

— Буду, — сказала Эмма.

— И пиши мне. Я теперь прочту. Сама.

— Буду.

Ривка не пришла на вокзал. Ривка попрощалась вчера, у дверей мастерской, — сунула Эмме в руки маленький свёрток («это иголки, хорошие, английские, там, небось, плохие») и сказала, глядя в сторону: «Ну, Гольдман. Не дай им себя купить. Ни здесь, ни там». И ушла, не обернувшись. А Шапиро, дядя Ривки, догнал Эмму на лестнице, запыхавшись, сунул ей в руку целый рубль — серебряный — и пробормотал: «Это за цветок. Тот. Я тебе удержал — я и отдаю. Теперь в расчёте». И тоже ушёл.

Мать была на вокзале. И мальчики. Герман — уже почти взрослый, тринадцатилетний, с ломающимся голосом, — стоял с серьёзным лицом и пожимал руку Елене, как мужчина. Егор — девятилетний — висел у Эммы на шее и не хотел отпускать, и плакал, и Эмма держала его — так же, как держала в ручье, — и шептала ему в ухо: «Ты лучший разбойник. Ты выиграл. Ты всегда выигрываешь».

Отца не было.

Он не пришёл. Сказал утром, что в лавке ревизия, что нельзя отлучиться. Поцеловал Елену в лоб. Эмме — кивнул. Издалека. И ушёл.

Эмма знала, что ревизии нет.

Мать стояла до последнего. До третьего звонка. Не плакала. Держала Эмму за обе руки и смотрела ей в лицо — долго, внимательно, будто старалась запомнить. Потом сказала одно слово. На идише. Тихо.

— Лебн. — Живи.

И отпустила.

Поезд тронулся. Эмма стояла у окна и смотрела, как уплывают назад перрон, мать, мальчики, Глаша в чёрном платке, машущая обеими руками, — как всё это становится маленьким, далёким, размытым в паровом дыму, — и Петербург за ними, серый, низкий, под снеговым небом. Шпиль крепости мелькнул на мгновение над крышами — золотая игла — и пропал.

Она подумала о Северцеве. О том, что он там, за этими стенами. Что он не знает, что она уезжает. Что шарф — его шарф, Еленин шарф — сейчас у неё на шее.

Она коснулась шарфа.

До Ковно ехали сутки. В Ковно — пересадка, ночь в гостинице, утром — дальше, до границы, до Эйдкунена, через Пруссию, до Берлина, до Гамбурга.

Ковно встретил их снегом и тишиной. Маленький город на слиянии двух рек — Немана и Вилии, — с остатками старого замка на холме, с колокольнями, с узкими кривыми улицами, с деревянными домами и вывесками на трёх языках. Эмма смотрела на него из окна извозчичьих саней — и не узнавала. Она родилась здесь. Здесь, в одном из этих домов, шестнадцать лет назад. Её увезли отсюда совсем маленькой, и она ничего не помнила. Только — почему-то — запах. Запах речной воды и дыма. Он был тот же.

«Вы — не иностранка, — сказал когда-то Коля. — Вы родились в Ковно. Это Россия».

Ну вот. Это — Россия. Её Россия. И она уезжает отсюда.

Дядя Егор держал аптеку на Ратушной площади. Эмма нашла её без труда — по вывеске: «Аптека провизора Е. Б. Бинович». Маленькая, чистая, с двумя окнами, в которых стояли большие стеклянные шары с цветной водой — красной и синей, — как в сказке. Над дверью — колокольчик.

Она вошла одна. Елена ушла по своему делу — сказала, что вернётся к вечеру, и не сказала куда.

За прилавком стоял человек. Полный, лысеющий, в белом халате, с золотыми очками на носу и аккуратной бородкой. Лет сорока. Он что-то отвешивал на маленьких аптекарских весах, медленно, сосредоточенно, и поднял голову, только когда колокольчик звякнул второй раз.

— Чем могу служить, барышня?

Эмма смотрела на него. Это был он. Дядя Егор. Студент. Тот, кто «знал тех, кого нельзя было знать». Тот, кого везли по этапу в Сибирь. Тот, ради кого мать продала серьги, ехала три дня в третьем классе с Еленой на руках, ночевала у чужой вдовы, стояла с восьми утра до четырёх в приёмной, где её называли жидовкой, и встала на колени на ковёр перед лысым генералом.

Он отвечивал порошки на весах. В золотых очках. С бородкой.

— Я — Эмма, — сказала она. — Дочь Таубе. Вашей сестры.

Он замер. Медленно положил гирику.

— Эмма? — сказал он. — Таубина Эмма? Младшая?

— Да.

Он вышел из-за прилавка. Посмотрел на неё — внимательно, с головы до ног, поверх очков.

— Боже мой, — сказал он. — Я тебя видел, когда тебе было два года. Ты орала, как резаная. — Он попытался улыбнуться. — Как Таубе? Как она?

— Хорошо, — сказала Эмма. — То есть плохо. Бедно. Отец — бакалея на Песках. Околоточный. Долги.

Дядя Егор кивнул. Помолчал.

— А ты здесь — как? Проездом?

— Мы с Еленой едем в Америку. К Лене. В Рочестер.

— В Америку! — Он покачал головой. — Ну, ну. Многие сейчас едут. После правил этих. — Он вдруг оглянулся на дверь, на окно, будто кто-то мог подслушать, и понизил голос. — Хорошее дело. Правильное. Здесь — что? Здесь ничего не будет. Ничего хорошего. Я когда-то думал... — Он осёкся. Поправил очки. — Ну, неважно, что я когда-то думал. Глупости молодости.

— Мама рассказывала, — сказала Эмма.

Дядя Егор посмотрел на неё. И что-то изменилось у него в лице. Стало настороженным.

— Что рассказывала?

— Всё. Про крепость. Про этап. Про то, как она ездила в Петербург. К Трепову. — Эмма смотрела ему прямо в глаза. — Как она стояла у него на коленях.

Дядя Егор побледнел. Он повернулся, пошёл обратно за прилавок, взял гирику, повертел её в пальцах, положил. Не поднимая глаз.

— Это было давно, — сказал он.

— Двадцать лет назад, — сказала Эмма.

— Да. Двадцать лет. — Он снова взял гирику. — Это было... Я её не просил. Я её не просил ехать. Я бы и сам... Мне бы и в Сибири... — Он замолчал.

— Она ждёт, — сказала Эмма.

— Чего?

— Вашего «спасибо». Двадцать лет. Она мне сказала. Что вы ей так ни разу и не сказали «спасибо». Что вам стыдно. Что вы ей этого никогда не простите — что она за вас на коленях стояла.

Тишина. Только тиканье часов на стене. И где-то за окном — скрип саней по снегу.

Дядя Егор долго стоял, глядя на весы. Потом снял очки. Протёр их — медленно, тщательно, как Коля протирал свои, когда волновался. Надел.

— Ты очень похожа на неё, — сказал он наконец тихо. — На Таубе. В молодости. Она тоже так смотрела. Прямо. В глаза. Как будто ты ей должен.

— Вы и должны, — сказала Эмма.

Он кивнул. Медленно. Будто соглашаясь с чем-то давно известным.

— Должен, — сказал он. — Да. — Помолчал. — Передай ей... — Он запнулся. — Нет. Ничего не передавай. Я сам напишу. Я давно хотел. Двадцать лет хотел. Всё не мог. — Он поднял глаза. — Я напишу. Скажи ей, что я напишу.

Эмма не знала, напишет ли он. Никогда так и не узнала. Мать в письмах в Америку ни разу о нём не упомянула.

Он дал ей с собой в дорогу пакет — порошки от морской болезни, капли от простуды, бинты, — и не взял денег. На прощание неловко обнял её — она вздрогнула, но не отстранилась, — и сказал, совсем тихо, почти неслышно:

— Ты там... не повторяй моих глупостей. Или повторяй. Не знаю. — Он засмеялся невесело. — Я в двадцать лет знал всё. А в сорок — ничего. Вот и вся наука.

Елена вернулась поздно вечером, когда уже стемнело. Эмма ждала её в гостинице, у окна, и увидела, как сестра идёт по заснеженной улице — медленно, будто во сне, держа в руках что-то белое.

Она вошла в комнату. Села на кровать, не снимая шубки. В руках у неё был конверт. Старый, пожелтевший, с обтрёпанными краями. Распечатанный.

— Где ты была? — спросила Эмма.

Елена долго молчала.

— В гостинице у Немана, — сказала она наконец. — В той. Где он ждал меня. Пять лет назад.

Эмма замерла.

— Хозяин — тот же. Старик. Он меня узнал. Представляешь? Через пять лет. Он посмотрел на меня и сказал: «А-а, это вы. Барышня из Попелян. Он вас неделю ждал. Каждый день спрашивал». — Елена смотрела на конверт. — А потом пошёл в контору. И вынес вот это. Он сказал — тот, уезжая, оставил. Сказал: «Если придёт — отдайте. Если не придёт — сожгите». А старик не сжёг. Пять лет хранил. В ящике. Сказал — «жалко было, барышня. Он так просил».

Она замолчала. Эмма ждала.

— Ты прочла? — спросила она наконец.

— Прочла, — сказала Елена. — На берегу. Там, где мы гуляли. Где Неман сливается с Вилией. — Она подняла глаза, и Эмма увидела, что они сухие. Совершенно сухие. И какие-то очень спокойные. — Прочла.

— Что там?

Елена посмотрела на неё долгим взглядом. Потом сложила письмо. Убрала его в конверт. Спрятала за пазуху, под шубку, туда, где сердце.

— Это моё, — сказала она тихо. — Только моё. Ты же понимаешь?

Эмма понимала.

Она никогда так и не узнала, что было в том письме. Елена ни разу о нём не заговорила. Ни на пароходе, ни в Рочестере, ни потом, через много лет. Но Эмма заметила — она всегда замечала такие вещи, — что с того вечера в Ковно Елена изменилась. Не сразу, не заметно для других. Но она перестала смотреть в одну точку. Перестала стоять на берегу.

Как будто наконец ушла оттуда.

5. «Эльба»

Гамбург был серый, мокрый и огромный, и пах селёдкой, углём и морем.

Эмиграционные бараки стояли на окраине порта, у самой воды, — длинные деревянные сараи с нарами в три яруса, на которых, вповалку, на соломенных тюфяках, спали сотни людей. Евреи из Литвы, из Польши, из Белоруссии, с Украины — с узлами, с перинами, с медными подсвечниками, завёрнутыми в тряпки, с детьми, со стариками. Беженцы от погромов, от «Временных правил», от голода, от призыва. Немцы — крестьяне из Померании, из Мек-

ленбурга, — семьями, с сундуками, молчаливые, крепкие. Поляки. Чехи. Венгры. Говорили на десятке языков, ссорились, молились, плакали, торговались, пели. Пахло потом, карболкой, кислой капустой. Было холодно — бараки не топили. Кормили баландой из общего котла.

Они прожили там четыре дня, дожидаясь парохода. Эмма почти не спала. Лежала на верхних нарах, рядом с Еленой, завернувшись в шубку, и слушала: как где-то внизу молится старик, раскачиваясь, — тот же напев, что у отца над Мегилой; как плачет младенец; как кто-то храпит; как две полки шёпотом спорят, хватит ли им денег до Чикаго. Как немец-крестьянин рассказывает сыну про Америку: что там земля бесплатная, бери сколько хочешь, сто шестьдесят акров на семью, только паши.

«Там то же самое, — сказал отец на набережной. — Только по-английски».

Она не знала, кто прав. Она лежала и слушала.

«Эльба» была большая — больше всего, что Эмма когда-либо видела, больше Варшавского вокзала, больше Немецкого клуба. Длинный чёрный корпус, две высокие трубы, четыре мачты. Над водой — палубы, надстройки, мостик, медные поручни, — всё это для первого и второго класса, куда поднимались по отдельному трапу дамы в мехах и господа в цилиндрах, в сопровождении носильщиков с кожаными чемоданами. А третий класс — вниз. По узкой железной лестнице, в трюм, в темноту.

Трюм был огромный, низкий, освещённый тусклыми лампами. Нары в два яруса вдоль бортов. Сотни людей. Те же, что в бараках, — только теснее. Только душнее. Только под ногами — не земля, а железо, которое гудело и дрожало от машин. И пахло — углём, машинным маслом, рвотой, человеческим жильём.

На третий день начался шторм.

Эмма не знала, что такое шторм. Она думала — ветер, волны, как на Неве в ноябре. А это было другое. Это было так, будто огромный железный ящик, в котором они сидели, взяли в руки — и трясли. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. С боку на бок. Нары скрипели. Узлы летали. Люди падали. Лампы раскачивались, бросая на стены безумные тени. Где-то наверху ревело, грохотало, и казалось, что сейчас — вот сейчас — железные стены треснут, и чёрная вода хлынет внутрь.

Всех тошнило. Всех. Елена лежала на нарах, серая, неподвижная, с закрытыми глазами, и только стонала. Эмма тоже лежала — первый день. Её выворачивало наизнанку, и она думала, что умрёт, и ей было почти всё равно. Порошки дяди Егора не помогали.

А на второй день шторма, ночью, она услышала, как совсем рядом, на соседних нарах, кто-то плачет. Не стонет, как все, — плачет. Тихо, безнадежно, как плачут, когда уже нет сил.

Эмма приподнялась. На соседних нарах лежала женщина — молодая, лет двадцати пяти, в платке, с измученным, зелёным лицом. Её рвало прямо на пол, она не могла встать. А вокруг неё были дети. Трое. Девочка лет шести, мальчик лет четырёх. И совсем маленький — младенец, может быть, годовалый, — который заходился криком, а мать не могла даже взять его на руки.

Старшие дети сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели на мать огромными испуганными глазами. И молчали. Как молчал Егор у ручья.

Эмма слезла с нар. Её шатало. Пол уходил из-под ног. Она схватилась за столб, переждала, пока пройдёт волна. Потом шагнула к соседним нарам.

— Дайте, — сказала она женщине на идише. — Дайте мне маленького.

Женщина посмотрела на неё мутными глазами. Не поняла. Или поняла, но не могла ответить.

Эмма взяла младенца сама. Он был мокрый, горячий, тяжёлый, — тяжелее, чем казался. Он кричал. Она прижала его к себе. Положила его голову себе на плечо, к щеке. Как держала Егора. Как держала его над чёрной водой ручья, чтобы ни одна капля не попала на одеяло.

— Тихо, — прошептала она ему в ухо. — Тихо. Это игра. Мы играем в разбойников. Кто первый закричит — тот проиграл.

Он, конечно, не понимал. Ему был год. Но он почувствовал что-то — тепло, ритм, голос, — и крик стал тише. Потом ещё тише. Потом превратился во всхлипы. Потом — в сопение.

Эмма села на край нар, держа его. Корабль падал и поднимался. Её тошнило. Но она держала.

Старшие дети смотрели на неё. Девочка вдруг подползла ближе и прижалась к её боку. Мальчик — к другому.

— Как вас зовут? — спросила Эмма.

— Фейгеле, — шёпотом сказала девочка. — А он — Мотл. А маленький — Шмулик.

— Куда вы едете?

— К папе. В Нью-Йорк. Папа там уже два года. Он портной. Он прислал билеты.

— Хорошо, — сказала Эмма. — Значит, папа вас встретит.

Она достала из кармана свистульку. Ванькину. Ивовую. Дунула в неё — тихо, — и свистулька пискнула, неуверенно, как птица.

Фейгеле и Мотл уставились на неё. Потом Мотл засмеялся. Первый раз за всю ночь.

— Ещё! — сказал он.

Она свистела им до утра. Под рёв шторма, под скрип нар, под стоны, под грохот волн о борт. Неумело, на трёх дырочках, — одну и ту же мелодию, которую знала, — Глашину «Ноченьку», ту самую, протяжную, что пели шестьсот девушек на Васильевском. Младенец спал у неё на плече. Дети засыпали, прижавшись к ней с двух сторон. Мать на нарах перестала плакать и тоже уснула.

А Эмма не спала. Она сидела, держала чужого ребёнка, свистела в Ванькину свистульку, и думала: вот. Вот это — то, что она умеет. Не петли. Не корсеты. Не петь под надзором мадам Зильберг. Вот это: взять того, кто слабее, — и держать. Пока не пройдёт волна.

Шторм кончился на следующий день. Ещё через неделю — однажды утром, рано, в первые дни нового, восемьдесят шестого года, — по трюму пронёсся крик:

— Америка! Америка! Земля!

И все — все сотни людей — бросились к узкой железной лестнице, наверх, на палубу третьего класса, на холод, на ветер.

Эмма с Еленой поднялись одними из первых. Фейгеле держала Эмму за руку. Мотл — Елену. Их мать шла позади, со Шмуликом на руках.

На палубе был туман. Густой, белый, холодный, как молоко. Ничего не было видно — ни воды, ни неба, ни земли. Только белое. И в этом белом — гудки. Далёкие и близкие. Сирены. Колокола. Крики чаек. Плеск воды о борт. Где-то впереди, в тумане, угадывались тёмные силуэты — другие суда, баржи, буксиры.

Люди теснились у поручней. Вглядывались. Шептались.

— Где она? Где статуя? Говорят, там статуя — огромная, с факелом. Женщина. Свобода. Она должна быть здесь. У входа в гавань. Где она?

Елена стояла рядом с Эммой у поручня, вцепившись в него обеими руками. Лицо у неё было мокрое — от тумана или от слёз. Она тоже вглядывалась.

— Витрина, — прошептала она. — Помнишь? На Невском. Пароходная контора. Там была нарисована. Женщина с факелом. Я тогда стояла и думала...

Туман начал расходиться.

Медленно. Ключьями. Как будто кто-то невидимый отдёргивал белые занавески одну за другой. Показалась вода — серая, тяжёлая, с белыми гребешками. Показалось небо — низкое, зимнее, серое. Показались суда — много, десятки, — пароходы, парусники, баржи, буксиры с чёрным дымом.

А потом, слева, — показался остров. Небольшой, низкий, с какими-то старыми каменными укреплениями в форме звезды. И на этом острове, посередине, — высокое. Огромное. Каменное.

Люди ахнули.

А потом замолчали.

Это была не статуя.

Это был постамент. Громадный, из серого гранита, — массивный, квадратный, сужающийся кверху, — и он стоял пустой. Недостроенный. Опутанный деревянными лесами, как паутиной. На лесах — крошечные фигурки рабочих. Подъёмный кран. Груды камня у подножия. А наверху — ничего. Пустота. Небо.

На палубе стояла тишина. Сотни людей смотрели на пустой постамент.

— А где же... — сказал кто-то растерянно на идише. — Где же она?

Мимо проходил матрос — молодой, рыжий, веснушчатый, в бушлате, с канатом на плече. Он услышал. Остановился. Посмотрел туда же, куда смотрели все. И усмехнулся.

— Liberty? — сказал он по-английски. Потом, видя, что не понимают, повторил по-немецки, громко, чтобы все слышали: — Свобода? Её ещё не поставили. Лежит в ящиках. Двести ящиков из Франции привезли — а собрать не могут. Денег на постамент не хватало, газеты собирали по центу. Обещают к осени. — Он пожал плечами и снова усмехнулся. — Добро пожаловать в Америку. Свобода — будет. Потом. Когда-нибудь.

И пошёл дальше со своим канатом.

На палубе было тихо. Кто-то перекрестился. Кто-то пробормотал молитву. Немец-крестьянин, тот, что рассказывал сыну про бесплатную землю, стоял с открытым ртом. Елена смотрела на пустой постамент, и губы у неё дрожали.

А Эмма вдруг засмеялась.

Она не хотела. Это вышло само. Смех поднялся откуда-то изнутри, из самой глубины, из того места, где с марта было пусто и холодно, где не было ничего, — поднялся, как вода из-под льда, и вырвался наружу. Она смеялась — громко, неудержимо, до слёз, вцепившись в поручень, — и люди вокруг оборачивались, смотрели на неё как на сумасшедшую, а она не могла остановиться.

Свободу ещё не поставили. Она лежит в ящиках. Обещают к осени.

Это было так смешно. Так глупо. Так правильно. Так — точно. Она ехала через полмира — через ручей, через Петербург, через Ковно, через Гамбург, через шторм, — она бежала от отца, от Рабиновича, от мадам Зильберг, от гостиничного коридора с шипящим рожком, от всех этих властей, которые секут, и молчат, и говорят «сама виновата», — она ехала к Свободе. К той, что на витрине. С факелом. А Свободы — нет. Есть только постамент. Пустой. В лесах. И матрос с канатом, который говорит: потом. Когда-нибудь. Когда соберут.

— Эмма, — сказала Елена. — Эмма, что с тобой?

— Ничего, — сказала Эмма сквозь смех, сквозь слёзы. — Ничего, Елена. Всё хорошо. Всё правильно. Её ещё нет. Понимаешь? Её ещё нет. Значит — её надо поставить.

Она перестала смеяться. Вытерла лицо рукавом. И посмотрела на пустой постамент — уже без смеха. Серьёзно. Долго. Как смотрела когда-то на шпиль Петропавловской крепости в первый день, у Невы. Как смотрит человек на дорогу, по которой ему идти.

Фейгеле дёргала её за руку.

— Тётя Эмма! Тётя Эмма! А папа нас встретит?

— Встретит, — сказала Эмма. — Обязательно встретит.

Она достала из кармана Ванькину свистульку и вложила девочке в ладонь.

— На, — сказала она. — Это тебе. Будешь свистеть, когда страшно.

— А ты?

— А мне уже не страшно, — сказала Эмма.

Это была неправда. Ей было страшно. Очень. Но это было уже не важно.

Туман расходился всё дальше. Впереди, за серой водой, поднимался город — низкий, плоский, утыканный трубами, шпилями, мачтами. Дымный. Огромный. Чужой. На берегу, у самой воды, стояло круглое каменное здание с флагом — Касл-Гарден, сказал кто-то, там принимают приезжих, там будут смотреть, допрашивать, записывать.

«Эльба» медленно, с гудением, шла мимо пустого постамента, в лесах, с крошечными рабочими наверху, — мимо Свободы, которую ещё не поставили.

Через сорок пять лет, сидя у окна в Сен-Тропе над рукописью книги о своей жизни, Эмма Гольдман дойдёт до этого утра. И напишет, что видела, как из тумана поднимается статуя Свободы — величественная, прекрасная, с факелом в руке, — и что они с Еленой плакали от счастья, глядя на неё.

Она не будет лгать. Она будет в это верить. Память к тому времени поставит статую на место — сама, незаметно, как ставят на место недостающую деталь в узор, чтобы рисунок сошёлся.

Но в то утро, в январе тысяча восемьсот восемьдесят шестого года, статуи не было.

Был пустой постамент. И шестнадцатилетняя девочка в сером шарфе, которая смеялась, глядя на него, пока не перестала. И потом смотрела — молча, серьёзно, долго, — как смотрят на то, что предстоит сделать самой.

Конец первой части



Часть вторая. Рочестер — Нью-Йорк

Глава 8. Касл-Гарден

1. Касл-Гарден

«Эльба» пришвартовалась не в Нью-Йорке, а напротив, на другом берегу реки, в Хобокене, у длинных деревянных пирсов Северо-Германского Ллойда, — и первым американским словом, которое Эмма услышала с палубы, было не «свобода» и не «добро пожаловать», а немецкое «Schneller!» — быстрее.

Кричал стюард. Первый и второй класс уже сходили по трапу на пирс — дамы в мехах, господа в цилиндрах, носильщики с кожаными чемоданами, — и внизу их ждали кареты, и какой-то человек в форме прикладывал руку к козырьку и не смотрел ни в какие бумаги. А третий класс держали на палубе. Час. Два. На ветру, на январском холоде, с узлами, с перинами, с детьми. Потом подогнали баржу — плоскую, грязную, без скамеек, с низкими бортами, — и стюарды стали сгонять людей вниз по сходням, как сгоняют скот на пароме через реку. «Schneller! Schneller! Weiter!» Кто-то уронил узел в воду. Старуха с медным подсвечником в руках упала на сходнях, и её подняли за локти и поставили на баржу, как ставят мешок. Подсвечник покотился по доскам. Эмма подняла его и сунула ей в руки. Старуха даже не посмотрела на неё — смотрела вперёд, на воду, на город за водой, и губы у неё шевелились.

Баржу потащил буксир. Через реку, через гавань, мимо судов, мимо дымящих труб, мимо острова с пустым постаментом в лесах — Эмма не стала на него смотреть, она уже насмотрелась, — к самому концу длинного острова, где город упирался в воду и где стояло круглое приземистое каменное здание с флагом на крыше.

— Касл-Гарден, — сказал кто-то рядом по-немецки. — Замок-сад.

— Какой же это замок, — сказал другой голос. — Это цирк.

Он был прав наполовину. Здание было когда-то крепостью — круглой, толстостенной, с пушечными амбразурами, — потом, как объяснил Эмме много позже человек, знавший про этот город всё, в нём устроили концертный зал, и там пела шведская певица Дженни Линд, и нью-йоркская публика платила за билет по двести долларов, чтобы её услышать. А потом из концертного зала сделали ворота. Через эти ворота за тридцать лет прошло восемь миллионов человек. Немцы, ирландцы, шведы, итальянцы, поляки, евреи. Каждый второй американец, говорил тот человек, — внук того, кто прошёл через Касл-Гарден. Эмма тогда засмеялась и сказала: «И каждого второго там обругали».

Их обругали сразу, на входе.

Внутри было огромное круглое пространство под куполом — ротонда, — тёмное, гулкое, полное народу, и всё в нём двигалось, кричало, толкалось, пахло мокрой одеждой, дезинфекцией, детской мочой и кофе, который продавали где-то в углу по пять центов. Посередине, отгороженные деревянными барьерами, стояли конторки, и за конторками сидели клерки. А между барьерами, в проходах, ходили люди в форме — в синих сюртуках с медными пуговицами, в фуражках, — и у каждого в руке была палка. Не дубинка — палка, гладкая, тёмная, длиной в руку. Ею они показывали, куда идти. Ею постукивали по барьеру. Ею подталкивали в спину того, кто замешкался.

Эмма увидела эти палки — и вдруг перестала дышать.

Это было глупо. Палка — не розга. Никто никого не сёк. Люди в синих сюртуках просто показывали дорогу. Но она смотрела на гладкую тёмную палку в руке ближайшего — рос-

лого, рыжеусого, с красным лицом, который кричал на кого-то по-английски, — и видела урядника у конюшни в Попелянах. Видела, как поднимаются и падают прутья. Видела Петрушку на крыльце и слышала: «Так заведено. Испокон веку».

— Эмма. — Елена сжала её руку. — Эмма, что ты?

— Ничего.

— Ты белая.

— Качка, — сказала Эмма. — Ещё качает.

Их выстроили в очередь к врачу.

Врач сидел за отдельной конторкой — пожилой, усталый, в очках, с засученными рукавами. Перед ним медленно ползла очередь, и каждый, подходя, должен был остановиться, открыть рот, показать язык, повернуть голову. Врач оттягивал веки — быстро, грубо, большим пальцем — и заглядывал в глаза. Щупал шею. Слушал дыхание, приложив ухо к спине, прямо через одежду. На всё у него уходило полминуты. Иногда он говорил что-то по-английски клерку рядом, и клерк брал карандаш и записывал что-то в листок, а человек с палкой брал этого человека за локоть. Его уводили в сторону, за отдельный барьер, и там он стоял, и было видно, как он оглядывается, ищет своих, и как свои в очереди тянут к нему шею и не могут подойти.

Перед ними в очереди стояла женщина с «Эльбы». Мать Фейгеле. Она держала на руках Шмулика, а Фейгеле и Мотл держались за её юбку. Она была ещё очень бледная после шторма, с запавшими глазами. Когда врач оттянул ей веко, она пошатнулась.

Врач посмотрел на неё внимательно. Слишком внимательно. Повернулся к клерку и сказал что-то, и клерк потянулся за карандашом.

— Nein! — сказала Эмма громко, прежде чем успела подумать. — Nein, bitte! Sie ist nicht krank! Это качка. Seekrank. Шторм был. Три дня. Она не больна, она просто не ела!

Врач поднял на неё глаза поверх очков. Клерк замер с карандашом над листком. Человек с палкой в проходе повернулся к ним.

— Вы говорите по-немецки? — спросил врач. По-немецки — с тяжёлым, деревянным акцентом, но понятно.

— Да.

— Кто она вам?

— Никто. Соседка по нарам. — Эмма перевела дыхание. — Её муж здесь. В Нью-Йорке. Портной. Он прислал билеты. Он ждёт. Два года не видел детей. Если вы её отправите назад — что будет с детьми?

Врач долго смотрел на неё. Потом на мать Фейгеле. Потом на детей, которые вцепились в юбку. Потом снова на Эмму.

— Сколько вам лет? — спросил он.

— Шестнадцать.

— Вы много говорите для шестнадцати, — сказал врач. И неожиданно усмехнулся. — Ладно. Морская болезнь. — Он махнул клерку рукой. Клерк пожал плечами и отложил карандаш.

Мать Фейгеле не поняла, что произошло. Она только видела, что её не отвели в сторону. Она прошла дальше, к конторке регистрации, оглядываясь на Эмму огромными, ничего не понимающими глазами, — и вдруг, уже у самой конторки, поняла. И заплакала. Беззвучно, стоя, со Шмуликом на руках.

Эмма отвернулась. Ей было стыдно — непонятно чего. Того, что пришлось просить. Того, что этот усталый человек в очках мог решить так — и мог решить иначе. И что она стояла перед ним и уговаривала, как мать когда-то уговаривала Трепова. Не на коленях. Но всё-таки — уговаривала.

Врач посмотрел ей в глаза, оттянул веко, пощупал шею. «Gut». Елене — то же. «Gut». Карандаш не шевельнулся.

Потом была регистрация. Клерк за высокой конторкой — молодой, с напыленным пробором, с пером за ухом — спрашивал, не поднимая головы, по-английски, и рядом с ним стоял переводчик, который переводил на немецкий, на идиш, на польский, — всё одинаково скучным голосом. Имя. Возраст. Откуда. Куда. Профессия. Деньги. Есть ли родственники. Умеет ли читать.

— Гольдман, — сказала Елена. — Елена.

Клерк написал. Эмма видела, как он пишет: «Helene Goldmann». С двумя «н» на конце. По-немецки. Ему было всё равно.

— Гольдман, Эмма.

— Age?

— Шестнадцать, — сказала Эмма.

— Occupation?

Переводчик перевёл: занятие?

Эмма подумала. Шали. Перчатки. Корсеты. Петли.

— Швея, — сказала она.

— Can she read? — спросил клерк у переводчика.

— Читать умеешь?

— По-русски, по-немецки, на идише, — сказала Эмма. — И немного по-французски.

Переводчик перевёл. Клерк впервые поднял голову и посмотрел на неё. Потом снова опустил.

— Seamstress, — сказал он и написал. — Reads. Next.

Вот и всё. Шестнадцать лет. Швея. Читает. Следующий. Она стояла и смотрела на строчку в толстой книге, где теперь была записана — чужими буквами, с двумя «н», — и думала, что вот так, наверное, и записывают людей в Америку. Одной строчкой. Между тем, кто был до неё, и тем, кто будет после.

У выхода из ротонды, за последним барьером, стояли люди. Много людей. Они кричали, махали руками, лезли через барьер, и люди в синих сюртуках отпихивали их палками. Это были те, кто встречал. Мужья, братья, отцы. И ещё — другие. Эмма их узнала сразу, не зная языка. По глазам. По улыбкам. По тому, как они смотрели на девушек, выходящих поодиночке. Это были охотники. Как у Пассажа. Только здесь они говорили на всех языках сразу и предлагали не пирожное, а «хорошее место», «работу в приличном доме», «комнату недорого», «билет на поезд со скидкой».

— Не отвечай, — сказала Елена, беря её под руку. Совсем как Ривка. — Не смотри на них. Иди.

— Я знаю, — сказала Эмма.

Она знала.

Отец Фейгеле стоял у самого барьера. Эмма его не видела никогда, но поняла сразу, кто это, — потому что Фейгеле закричала, и рванулась из рук матери, и пролезла под барьером, под самыми ногами у человека с палкой, и повисла на шее у маленького, тощего, сутулого человека в слишком лёгком пальто. Он поднял её на руки. Он был совсем молодой — моложе, чем Эмма думала, может быть, лет тридцати, — но лицо у него было серое, с запавшими щеками, и он кашлял. Он держал Фейгеле и кашлял, отвернувшись, чтобы не на неё, в рукав, и плакал, и смеялся, и кашлял.

Потом подошла мать. С Мотлом и Шмуликом. Он обнял их всех сразу, неловко, всех четверых, и они стояли так у барьера, а вокруг кричали, толкались, ругались, и человек с палкой сказал что-то по-английски и постучал палкой по барьеру — проходите, не задерживайте.

Фейгеле увидела Эмму через отцовское плечо. И вдруг полезла в карман своего пальтишка и достала свистульку. Ванькину. Ивовую. Подняла её над головой и дунула.

Свистулька пискнула — тонко, неуверенно, — и этот писк потерялся в рёве ротонды, как птичий крик на вокзале. Но Эмма услышала.

Мать Фейгеле что-то сказала мужу на ухо, показывая на Эмму. Он посмотрел. Потом поставил Фейгеле на пол, пробрался к Эмме через толпу, снял шапку.

— Жена говорит — вы, — сказал он на идише. Голос у него был хриплый, сорванный. — Вы с детьми. На корабле. И тут, с доктором. — Он не знал, что ещё сказать. Мял шапку. — Я портной. Шмуэль Рабинер. У меня ничего нет. Совсем ничего. Только — вот.

Он полез за пазуху, достал огрызок карандаша и клочок бумаги — обрывок какой-то квитанции — и написал на нём, медленно, прижимая бумагу к барьеру. Протянул ей.

«Ludlow St. 47. Rabiner. Задний дом, пятый этаж».

— Если будете в Нью-Йорке, — сказал он. — Если нужно будет что сшить. Или переночевать. Или просто — поесть. Приходите. У нас тесно. Но приходите.

— Спасибо, — сказала Эмма.

Он поклонился ей — так, как кланяются в синагоге старшим, — и вернулся к своим. И они ушли. Пятеро. В толпу. В двери. В город. Фейгеле оглядывалась до последнего и махала свистулькой, пока не скрылась.

Эмма сложила бумажку вчетверо и спрятала. Туда же, где лежали Ривкины иголки, — во внутренний карман, к сердцу. Она тогда не думала, что пойдёт по этому адресу. Она просто не могла выбросить бумажку, на которой человек написал «приходите».

Она пойдёт. Через три с половиной года. Но это будет уже совсем другая история и совсем другая Эмма.

Билеты до Рочестера продавали тут же, в ротонде, у отдельного окошка железнодорожной компании. Лена прислала деньги на билеты — то есть на один билет, на Еленин, — а на второй пошли отцовские двадцать пять рублей, обмененные здесь же, у менялы, по курсу, от которого Елена побелела. Меняла — толстый, в жилете, с перстнем — отсчитал им доллары, зелёные бумажки и серебро, и Эмма, пересчитав их потом, на вокзале, поняла, что их обманули на два доллара. Два доллара. Она пошла назад — сказать. Человек с палкой у двери не пустил её обратно.

— Out, — сказал он и показал палкой на дверь. — You're out. Go.

Она стояла на ступенях Касл-Гардена, на январском ветру, с двумя долларами, которых не было, и смотрела на город.

Город был огромный, низкий, серый, дымный, грохочущий. По улице прямо перед ней, по железной эстакаде на высоких опорах, над головами людей, над конками, над крышами лавок, с лязгом и грохотом пронёсся поезд — маленький паровозик с тремя вагонами, — плюясь искрами и сажей, и сажа посыпалась сверху на прохожих, и никто даже не поднял головы. Внизу, под эстакадой, кипела улица — повозки, ломовики, тележки с овощами, газетчики, кричавшие что-то пронзительное, мальчишки-чистильщики, полицейские в шлемах, женщины с корзинами. Вывески лезли одна на другую — на английском, на немецком, на итальянском. Всё двигалось, всё кричало, всё торговало.

— Там то же самое, — сказал отец на набережной. — Только по-английски.

— Тут не то же самое, — сказала Эмма вслух, ни к кому не обращаясь. — Тут больше. Елена посмотрела на неё.

— Что?

— Ничего. — Эмма сунула доллары за пазуху. — Пойдём. Поезд в шесть.

2. Город цветов

Рочестер называли городом цветов.

Эмма узнала это в первый же день — от Альберта, мужа Лены, который сказал это с гордостью, будто сам был мэром. Когда-то, объяснил он, город назывался «мучным» — Flour City, — потому что на реке Дженеси стояли мельницы, и вся Америка ела хлеб из рочестерской муки. А потом мельницы ушли на запад, где пшеница, а вместо мельниц выросли питомники. Огромные, на сотни акров, — саженцы, розы, фруктовые деревья, луковицы, — и их рассылали по всей стране, по почте, в ящиках со мхом. И город стал называться иначе. Одна буква. Flour — Flower. Мука — цветок.

— Одна буква, — повторил Альберт. — Понимаешь? Вот это и есть Америка. Поменял одну букву — и ты уже другой человек.

Эмма тогда не нашлась что ответить. Потом, лёжа ночью без сна, придумала. «Клерк в Касл-Гардене мне тоже поменял букву, — должна была сказать она. — Добавил одну. Я теперь Гольдманн. Что-то я не стала другим человеком».

Но ночью говорить было некому. Елена спала рядом, на одном с ней тюфяке, на полу кухни, у остывающей плиты. Других мест в доме не было.

Цветов в январе в городе цветов не было. Был снег. Столько снега Эмма не видела даже в Петербурге — сугробы в человеческий рост вдоль тротуаров, сосульки с крыш, как зубы, снег на деревянных заборах, на деревянных домах, на деревянных тротуарах. Город был почти весь деревянный — двухэтажные дома с верандами, с острыми крышами, выкрашенные в белый, в серый, в жёлтый, — и между домами огромные голые вязы, которые смыкались кронами над улицами, и в сумерках улицы казались тоннелями. Было тихо. Странно, неестественно тихо после Нью-Йорка, после Петербурга. Сани скрипели. Где-то лаяла собака. Где-то звонил колокол — один, монотонно, — и Эмма потом узнала, что колоколов в Рочестере больше, чем тракторов, и это была правда.

Посередине города, прямо посередине, под мостом, был водопад.

Эмма не поверила, когда Альберт сказал. Водопад — посреди города? Но в первое же воскресенье Елена повела её смотреть, и это была правда. Река Дженеси — неширокая, тёмная — шла через город между фабричными стенами, мимо мельниц, мимо складов, и вдруг обрывалась. Просто обрывалась — в пропасть, глубокую, каменистую, — и падала вниз, с высоты пятиэтажного дома. Сейчас, в январе, водопад замёрз. Весь. Огромная белая стена льда, застывшие струи, сосульки толщиной с колонну Казанского собора, ледяные натёки, похожие на трубы органа. А внутри, под этим льдом, всё равно шла вода — было слышно, как она гудит, глухо, мощно, как гудят машины в трюме.

Эмма стояла на мосту, держась за перила, и смотрела вниз.

— Как Нева, — сказала Елена. — Помнишь? Ты тоже так стояла.

— Нет, — сказала Эмма. — Не как Нева.

Нева была широкая. Нева лежала. Нева была как поле. А это — это падало. Даже подо льдом, даже скованное — падало и гудело, и не могло остановиться.

Она не сказала Елене, что ей это нравится больше. Ей было стыдно перед Невой.

Лена жила на северной стороне, недалеко от Сент-Джозеф-стрит, где селились «русские» — то есть евреи из России, из Литвы, из Польши, которых здесь, как и в Петербурге, называли одним словом, только другим. В Петербурге — «жиды». Здесь — «русские». Или ещё хуже — «шини», от немецкого, Эмма не знала откуда. Немецкие евреи, приехавшие сюда сорок лет назад, богатые, с фабриками, с собственной синагогой, где молились по-немецки, с органом, без талесов, — немецкие евреи жили в другой части города, у парков, и на «русских» смотрели

так, как в Кёнигсберге смотрели на тех, кто приходил из-за границы через ручей. С жалостью и брезгливостью. Как на бедных родственников, которые позорят семью.

Дом у Лены был половиной дома — деревянного, двухэтажного, с общей верандой, на которой зимой стояли ведра с углём, а летом, как обещала Лена, будет хорошо сидеть. Две комнаты внизу и кухня. Чисто. Бедно. Тесно. Как на Песках. Только окна — не во двор-колодец, а на улицу, на сугробы, на чужой забор и голый вяз.

Лена встретила их на вокзале. Эмма её не узнала.

Она помнила Лену — смутно, из детства, из Кёнигсберга, — высокую, тёмную, красивую, с косами, с громким смехом. Лена уехала в Америку шесть лет назад, ей было двадцать. Теперь ей было двадцать шесть, и на перроне стояла маленькая, худая, усталая женщина в чёрном пальто, туго натянутом на огромный живот, с лицом, которое было одновременно постаревшим и детским, — как у девочки, которой слишком рано пришлось стать взрослой. Она увидела Елену и заплакала. Потом увидела Эмму — и остановилась.

— А ты зачем? — спросила она.

Не зло. Растерянно. Она писала Елене. Она звала Елену. Про Эмму в письмах не было ни слова.

— Я с Еленой, — сказала Эмма.

— Она со мной, — сказала Елена. — Я бы без неё не поехала.

Лена смотрела на Эмму ещё секунду. Потом махнула рукой — тем самым жестом, каким махала мать, — и обняла её. Неловко, боком, через живот.

— Ладно, — сказала она. — Ладно. Где двое, там и трое. Только работать пойдёшь. Сразу. На этой неделе. Альберт без места, ты знаешь.

— Знаю, — сказала Эмма.

Альберт оказался лучше и хуже, чем она думала. Он был невысокий, коренастый, с рыжеватыми усами и красными, обветренными руками жестянщика, в которых всё время что-то вертел — гвоздь, винт, обрезок жести. Он был не злой. Он был испуганный. Это Эмма поняла в первый же вечер, за ужином, когда он считал вслух. Он всё время считал вслух. Аренда — восемь долларов в месяц. Уголь — три. Мука, картошка, селёдка, масло, керосин. Доктор — когда Лена будет рожать. Акушерка — если доктор слишком дорог. Пелёнки. Колыбель — он сам сделает, из жести, нет, из дерева, он попросит у соседа. Завод, где он работал, закрылся в ноябре. Он ходит каждый день — на другие заводы, в мастерские, на стройки, — и везде говорят: приходи весной. Весной будет работа. Весной. Ещё два месяца. Три.

— Вы будете платить за стол, — сказал он, глядя в тарелку. — Не обижайтесь. Я не потому. Просто — сами видите.

— Мы будем платить, — сказала Елена.

— Сколько? — спросила Эмма.

Альберт поднял на неё глаза. Красные, усталые.

— Сколько сможете, — сказал он. И вдруг смутился так, что покраснел до корней рыжих волос. — Нет. Я скажу. Чтобы потом не было. Полтора доллара в неделю. С каждой. Это — за всё. За стол, за угол, за уголь. Это — дешево. Больше нигде не найдёте.

Полтора доллара. Эмма ещё не знала, сколько это. Она узнает через неделю, когда получит первое жалованье.

Ночью, на тюфяке у плиты, Елена шепнула:

— Он хороший. Просто боится.

— Как отец, — сказала Эмма.

Елена долго молчала.

— Нет, — сказала она наконец. — Отец боялся — и бил. А этот боится — и считает. Это разное.

Эмма подумала и согласилась. Это было разное. Но она лежала в темноте, слушая, как за стенкой Альберт что-то шепчет Лене — опять цифры, наверное, опять доллары, — и думала, что страх у всех одинаковый. Только руки у всех разные. У одних — кулак. У других — карандаш.

А у неё? Что будет у неё?

Елена нашла место через десять дней. Это было почти чудо — и потом Эмма поняла, что это было не чудо, а Рочестер.

В Рочестере делали фотографические пластинки. Те самые стеклянные пластинки, которые Елена три года ретушировала у Клейнмихеля в Петербурге. Их делал один человек, молодой ещё, бывший банковский клерк, по фамилии Истмен, — у него была фабрика на Стейт-стрит, и он придумал какую-то новую эмульсию, сухую, и рассылал пластинки по всему миру, и говорили, что он скоро станет богаче всех в городе. При его фабрике было ателье — пробное, где проверяли пластинки, снимали людей, печатали карточки. И им был нужен ретушёр.

Елена пришла туда со своим рекомендательным письмом от господина Ланге — по-немецки, на хорошей бумаге, — и с тремя негативами, которые она привезла с собой, завернув в бельё. Один из этих негативов был портрет господина Ланге с котом Бисмарком на нарисованной балюстраде. Управляющий ателье, немец из Баварии, посмотрел негатив на свет, засмеялся, посмотрел ещё раз — внимательно, через лупу, на то, как убраны морщины у старика под глазами и как оставлена при этом каждая шерстинка на коте, — и сказал:

— Шесть долларов в неделю. С понедельника.

Шесть долларов. Елена пришла домой и долго сидела на кухне, не снимая пальто, держа руки на коленях. Потом сказала Эмме, тихо, чтобы Лена не слышала:

— Знаешь, кто там снимает? Сам Истмен иногда приходит. Молодой. Станный. Говорят, он хочет сделать аппарат — маленький, в коробке, — чтобы каждый мог снимать сам. Без фотографа. Без ретушёра. Нажал — и всё. — Она помолчала. — Тогда я буду не нужна.

— Когда? — спросила Эмма.

— Не знаю. Лет через десять. Может, раньше.

— Через десять лет, — сказала Эмма, — ты будешь нужна для чего-нибудь другого.

Елена засмеялась. И Эмма подумала, что впервые с Ковно видит, как она смеётся — просто так, не через силу.

3. Фабрика Гарсона

Фабрика называлась «Гарсон, Мейер и компания. Готовое платье».

Это было длинное четырёхэтажное здание из тёмного кирпича в деловой части города, у реки, — с высокими окнами, с медной вывеской, с широкой лестницей, по которой поднимались хозяева и покупатели, и с узкой железной лестницей сзади, во дворе, по которой поднимались работницы. Внизу были склад и контора. На втором этаже — закройная. На третьем и четвёртом — швейные цеха. Здесь шили мужское платье: пальто, сюртуки, брюки, жилеты. Тысячи пальто — одинаковых, тёмно-серых и чёрных, из грубого сукна, — которые потом рассылали по магазинам всего штата и дальше, на запад, в Огайо, в Мичиган. Их носили клерки, приказчики, мастеровые, фермеры, приезжающие в город на ярмарку. Половина Америки, говорили на фабрике, ходит в пальто Гарсона.

Эмма пришла туда в понедельник, на третий день после приезда. Её привела соседка Лены по веранде, тоже «русская», из Минска, которая работала у Гарсона второй год и сказала, что там берут всех, кто умеет держать иглу.

— Берут всех, — сказала соседка, — и выгоняют всех. Кто не успевает. Кто болеет. Кто огрызается. Ты не огрызайся.

Эмма промолчала.

Её взяли. Мастер — человек по фамилии Шмидт, немец, плотный, лысеющий, с седыми усами и маленькими быстрыми глазками, — посмотрел на её руки, как когда-то мадам Зильберг, повертел, хмыкнул и сказал по-немецки:

— На машине работала?

— Нет. Руками. Перчатки. Корсеты.

— Здесь руками не работают. Здесь машины. Научишься за неделю. Не научишься — уйдёшь. Два доллара пятьдесят в неделю. Десять с половиной часов. Опоздание — штраф. Брак — штраф. Разговоры — штраф. Выйти по нужде — спросить у меня. Понятно?

— Понятно, — сказала Эмма.

Два доллара пятьдесят. Из них полтора — Альберту. Остаётся доллар. В неделю.

Цех был на четвёртом этаже. Огромный, светлый — окна во всю стену, — и в нём, рядами, стояли швейные машины. Не зингеровские, как у мадам Зильберг, — другие, тяжёлые, чёрные, чугунные, на высоких ножных педалях. Сто машин. Может быть, больше. И за каждой — женщина. Сидит, согнувшись, и качает ногой педаль — вверх-вниз, вверх-вниз, — и под иглой ползёт серое сукно, и игла стучит, как дятел, только быстрее, гораздо быстрее, и сто дятлов стучат разом, и от этого стука в цеху стоит гул, ровный, непрерывный, тяжёлый, от которого через час начинает болеть голова, а через день перестаёшь его слышать.

Моторов не было. Всё — ногами. Сто женщин десять с половиной часов в день качали ногами чугунные педали, и от этого у них болели спины, ноги, животы. Через месяц у Эммы начнутся боли внизу живота, каждый день, к вечеру, — тупые, тянущие, — и врач в бесплатной лечебнице, куда она пойдёт, только пожмёт плечами и скажет, что это у всех швей, это от педали, привыкнете.

Но не это было хуже всего.

Хуже всего была тишина.

То есть — машины гудели. Но люди молчали. Сто женщин сидели в одном цеху, плечом к плечу, по десять с половиной часов в день — и не говорили друг с другом. Не пели. Не смеялись. Не переглядывались. Сидели, согнувшись, смотрели на иглу, качали ногой. Как будто их не было. Как будто были только руки, ноги и игла.

Мастер Шмидт ходил между рядами. Не как герр Бауэр — медленно, молча, заложив руки за спину. А быстро, всё время, туда-сюда, и у него были часы на цепочке, и он то и дело доставал их и смотрел, а потом смотрел на работницу, и если она поднимала голову от машины хоть на секунду — он говорил: «Нет времени». По-немецки, по-английски, на ломаном идише. «Нет времени. Нет времени. Работай».

В первый день, к обеду, Эмма не выдержала. Она привыкла — за три года на Васильевском, за год у Зильберг, — что работа и разговор идут вместе. Что, выворачивая перчатки, можно слушать Глашу. Что, обмётывая петли, можно перешепнуться с Ривкой уголком рта. Она повернулась к соседке — молодой ирландке с веснушками и красными, распухшими пальцами — и спросила по-немецки, не знает ли та, когда обед.

Ирландка не поняла. Но посмотрела на неё с таким ужасом, будто Эмма сказала что-то непристойное, — и быстро отвернулась к машине.

А через минуту за спиной у Эммы вырос Шмидт.

— Разговоры, — сказал он. — Пять центов.

— Я только спросила...

— Ещё пять центов, — сказал Шмидт. — За то, что спорит. Здесь не Россия. Здесь работают.

Он ушёл. Эмма сидела, не двигаясь. Десять центов. Из доллара, который у неё остаётся в неделю. Десятая часть.

Потом, в обед — обед был полчаса, ели тут же, за машинами, или во дворе, на холоде, на ступенях железной лестницы, — ирландка подседа к ней сама. Звали её Нора. Она говорила

по-английски быстро, певуче, глотая слова, и Эмма не понимала половины, но Нора помогала себе руками, и кое-что было понятно.

— Шмидт, — сказала Нора и сделала страшное лицо. Потом показала пальцем на свои губы и покачала головой: нельзя. Потом показала на дверь и сделала жест, будто выметает что-то метлой: выгонит. Потом развела руками: вот так.

— Почему? — спросила Эмма по-немецки, потом, вспомнив, — по-английски, единственное английское слово, которое знала твёрдо: — Why?

Нора посмотрела на неё. Подумала. Потом сказала медленно, отдельно, чтобы Эмма поняла:

— Free country. Свободная страна. — И засмеялась невесело. — Free to work. Free to shut up.

Эмма поняла. Не все слова — но поняла.

Свободная страна. Свободная — работать. Свободная — молчать.

Вечером, идя домой по снегу через тёмный город, через мост над замёрзшим водопадом, она думала о герре Бауэре. О строгом, сухом, молчаливом немце в чёрном сюртуке, который разрешал петь, потому что «в Саксонии всегда поют». О том, как цех на Васильевском гремел Глашиной песней, злой, с притопом, и Бауэр делал вид, что не слышит. О его гривеннике в Глашином платке.

Она думала, что в Петербурге, в стране царя, урядников, розог, в стране без всякой свободы, — на фабрике можно было петь. А здесь, в стране свободы, — нельзя.

Это было так странно, что она не могла этого понять. Она перебирала в голове — как перебирала медяки в Глашином платке — и не могла сложить.

Через две недели она поняла ещё одно.

Это случилось в пятницу, под вечер, когда за окнами уже стемнело и зажгли газ. В соседнем ряду, через проход, работала девушка — Эмма не знала, как её зовут, — немка, совсем молоденькая, лет пятнадцати, светловолосая, тоненькая, с круглым детским лицом. Шмидт подошёл к ней. Не так, как подходил ко всем, — быстро, с часами в руке, — а медленно. Встал за её спиной. Наклонился над её машиной — будто проверяет шов. Близко. Очень близко. И положил ей руку на плечо.

Девушка замерла. Перестала качать педаль. Игла остановилась.

Шмидт что-то сказал ей — тихо, на ухо. Эмма не слышала что. Она видела только, как рука на плече медленно сползает ниже. На спину. На талию.

Девушка вскочила. Так резко, что опрокинулся стул. Сказала что-то — громко, звонко, по-немецки, — Эмма разобрала только «Schwein». Свинья.

В цеху стало тихо. Даже машины затихли — одна за другой, педали перестали качаться, сто женщин подняли головы. Впервые за две недели Эмма увидела их лица. Все разом. Сто лиц. И на всех было одно и то же. Не удивление. Не возмущение. Узнавание. Как будто все они это уже видели. Много раз.

Шмидт выпрямился. Лицо у него не изменилось — только покраснело немного.

— Ты уволена, — сказал он спокойно. — Забирай вещи. Расчёт в конторе. — Он повернулся к цеху. — Работать.

И машины снова застучали. Одна за другой. Сто педелей. Сто игл. Как будто ничего не было.

Девушка стояла у своей машины. Потом медленно подняла опрокинутый стул. Поставила. Взяла с подоконника свой узелок. И пошла к двери — через весь цех, между рядами, мимо ста женщин, которые не поднимали голов, — тоненькая, прямая, с горящими щеками. На пороге она обернулась. Посмотрела на цех. Будто ждала чего-то. Кого-то.

Никто не поднял головы.

Эмма — тоже.

Она сидела, качая педаль, глядя на иглу, и не могла поднять голову. Не от страха перед Шмидтом. От другого. Она не могла поднять голову, потому что, когда рука Шмидта поползла по спине той девушки вниз, — у неё, у Эммы, за её собственной машиной, через проход, похолодела собственная спина. Вся. От шеи до поясницы. Как будто это была её спина. Как будто это её плечо он взял. И в ушах у неё щёлкнул ключ.

Коридор. Длинный, полутёмный, с одинаковыми дверями. Шипящий рожок.

Она качала педаль — вверх-вниз, вверх-вниз, — и не видела иглы, и не видела сукна, и строчка пошла криво, и она не заметила. Она не дышала. Она ждала, что сейчас — вот сейчас — Шмидт пройдёт по проходу и остановится за её спиной. И наклонится. И положит руку.

Он не остановился. Прошёл мимо, с часами в руке. «Нет времени. Работай».

Вечером она получила штраф — пятнадцать центов, за кривую строчку на полу пальто. Она не возразила.

На мосту над водопадом, на обратном пути, она остановилась и долго стояла, держась за перила. Внизу, подо льдом, гудела вода.

Она думала о той девушке. О том, как та обернулась на пороге. И о том, что никто — никто из ста — не поднял головы. И она тоже.

Ривка поднимала бы. Ривка бы — она знала — вскочила, и опрокинула бы свой стул тоже, и сказала бы Шмидту такое, что две соседние девушки бы покраснели. Глаша бы запела — громко, зло, с притопом. А она, Эмма, сидела и качала педаль. Потому что спина похолодела. Потому что щёлкнул ключ.

«Есть только свои», — подумала она тогда, в мае, в Петербурге, в ту ночь. Елена. Ривка. Глаша.

А здесь своих не было. Здесь было сто женщин, которые не поднимают голов. И она — одна из них.

Девушку звали Анна Хофман. Эмма узнала это через неделю — от Норы. Нора сказала, что Анну теперь никуда не берут: Шмидт, говорят, знаком со всеми мастерами в городе. И что Анну видели вечером на Фронт-стрит, у реки, где салуны.

— Like that, — сказала Нора и сделала рукой какой-то жест, который Эмма сразу поняла. — Like that, now. Poor girl.

Эмма вспомнила Ривкину сестру. «На Сенной она теперь. Если жива».

В Петербурге это называлось Сенная. Здесь — Фронт-стрит. Одна буква. Свободная страна.

4. Стелла

Лена начала рожать в ночь на двенадцатое марта, в метель.

Альберта не было — он нашёл наконец работу, временную, на неделю, в Буффало, на заводе, где чинили паровые котлы, и уехал во вторник утром, обещав вернуться в субботу. «Доктор говорит — в конце месяца, — сказал он, целуя Лену в лоб. — Я успею». Он не успел.

Эмма проснулась от того, что Лена кричала. Не громко — коротко, сдавленно, как кричат в подушку. Она вскочила с тюфяка. Елена уже стояла у двери в комнату Лены, в одной рубашке, со свечой в руке, и свеча дрожала.

— Началось, — сказала Елена. Голос у неё был чужой.

Лена лежала на кровати, скорчившись, вцепившись обеими руками в железную спинку. Лицо мокрое, волосы прилипли ко лбу. Увидев сестёр, она попыталась что-то сказать — и не смогла. Её снова скрутило. Она закусила губу, выгнулась, и из-под закусенной губы вырвался звук — тот самый, низкий, глухой, страшный, который Эмма уже слышала однажды. У конюшни. Мычание.

— Доктора, — сказала Елена. — Надо доктора. Эмма, беги...

— Куда? — спросила Эмма. — Где доктор?

Елена не знала. Они в городе два месяца. Доктор, который смотрел Лену в феврале, жил где-то в центре, у немецкой синагоги, — немец, дорогой, три доллара за визит. Где — точно никто не знал. Альберт знал. Альберт был в Буффало.

— Акушерка, — выдохнула Лена между схватками. — Миссис Коэн... На Сент-Джозеф... Угловой дом... Зелёная дверь... Скорее...

Эмма оделась за минуту. Шубка, платок, ботинки на босу ногу. Елена сунула ей в руку фонарь. Эмма выскочила на веранду — и метель ударила её в лицо, как кулак.

Улицы не было. Было белое. Белое, кружащееся, ревущее, слепящее. Снег летел сразу со всех сторон — сверху, снизу, сбоку, — забивал глаза, рот, нос. Фонарь в руке светил на шаг, не дальше, и в его свете снег казался живым, как рой белых мух. Сугробы — по колено, по пояс. Вязы над головой стонали и скрипели. Ни одного прохожего. Ни одного огня в окнах. Город спал под метелью, как под периной.

Она пошла. Наугад. Туда, где, ей казалось, была Сент-Джозеф-стрит.

Она шла и проваливалась. Падала, вставала, шла. Фонарь погас через сто шагов — снег залепил стекло. Она шла в темноте. Держась рукой за заборы. Считая повороты. Один. Два. Третий налево. Или направо? Она не знала. Она шла.

И думала — почему-то — о ручье.

О чёрной воде, по колено, по пояс. О том, как холод ударил не в ноги, а сразу в середину. О Егоре на плече. «Не кричать». О Перовской, которая шла впереди по воде и не оглядывалась.

Только теперь впереди никого не было. Никакой Перовской. Никакого человека, который знает дорогу. Только белое — и в нём где-то зелёная дверь.

Она нашла её через сорок минут. Случайно. Наткнулась на угол дома, ощупала, обошла — и увидела в свете соседнего окна: дверь. Зелёная. Она заколотила в неё обоими кулаками.

Миссис Коэн была старая, огромная, в ночном чепце и мужском тулупе, накинутом поверх рубашки. Она выслушала Эмму на пороге — на идише, сбивчиво, задыхаясь, — ничего не спросила, кивнула и через пять минут уже шла рядом с ней сквозь метель, с большим кожаным саквояжем, тяжело, уверенно, как ледокол, и Эмма шла в её следу и думала, что вот так, наверное, ходят по льду через Неву, по ёлочкам, за тем, кто знает дорогу.

Когда они вошли, Лена уже не кричала. Она лежала на спине, белая, с закрытыми глазами, и только дышала — часто, хрипло. Елена сидела рядом, держала её руку, и лицо у неё было такое же белое.

Миссис Коэн скинула тулуп, засучила рукава, вымыла руки в тазу — долго, тщательно, с мылом, — и подошла к кровати.

— Ну, мейделе, — сказала она Лене. Ласково, грубо, по-домашнему. — Ну, ну. Чего разлеглась? Работать надо. Сейчас будем работать.

Она осмотрела Лену. Нахмурилась. Сказала Елене — греть воду, много воды. Сказала Эмме — держать.

— Что держать?

— Её, — сказала миссис Коэн. — Держи её. За руки. Крепко. Она будет рваться — держи. Будет кричать — держи. Будет просить отпустить — не отпускай. Поняла?

Эмма поняла.

Она держала Лену три часа.

Потом, много лет спустя, когда она сама станет акушеркой — когда пройдёт курс в Вене и будет принимать роды в нью-йоркских трущобах, в комнатах без окон, на соломе, при свече, у женщин, которые рожали десятого и молили Бога, чтобы этот родился мёртвым, — она будет вспоминать ту ночь. Первую. Метель за окном, свечу, миссис Коэн с засученными рукавами. И то, как она держала руки Лены в своих — горячие, мокрые, с ногтями, впивающимися ей

в ладони до крови, — и как Лена кричала, и рвалась, и просила отпустить, и проклинала Альберта, и Бога, и Америку, и её, Эмму, и всех, — а Эмма не отпускала.

— Тужься, — говорила миссис Коэн. — Ещё. Ещё. Вот так. Умница. Ещё.

— Не могу, — плакала Лена. — Не могу больше. Пусть он умрёт. Пусть я умру. Отпустите...

— Держи, — говорила миссис Коэн Эмме, не оборачиваясь.

Эмма держала.

И думала — она не могла не думать, хотя было не до мыслей, хотя руки уже онемели, хотя Лена кричала так, что у неё звенело в ушах, — она думала о том, что вот это и есть то, что делают с женщинами. Вот это. Не в книгах, не в Мегиле, не у Чернышевского. Вот это — боль, кровь, крик, ночь, метель, чужая старуха с засученными рукавами. Вот за что «всякий муж — господин в доме своём». Вот что получает Вашти, если не скажет «нет», и Эстер, когда её выберут. Вот чего хотел от неё Рабинович за сто рублей задатка. Вот что было бы с ней, если бы отец не отпустил. Через год. В доме в Коломне. Без Елены. Без миссис Коэн.

А Альберт был в Буффало. Чинил котлы. За полтора доллара в день. Чтобы было чем заплатить за эту ночь.

В четвёртом часу утра миссис Коэн сказала: «Есть». И подняла что-то — маленькое, сине-красное, мокрое, скользкое, — и шлёпнула его ладонью, и оно закричало.

Девочка.

Лена лежала с закрытыми глазами. Она не плакала. Она дышала. Миссис Коэн перевязала, обрезала, обмыла, завернула в пелёнку — быстро, ловко, сто раз, тысячу раз делала, — и протянула свёрток не Лене, у которой не было сил поднять руки, и не Елене, которая стояла у плиты с тазом горячей воды, — а Эмме.

— На, — сказала она. — Подержи. Пока я с матерью.

Эмма взяла.

Девочка была лёгкая. Совсем лёгкая — легче Шмулика на «Эльбе», легче Егора в ручье. Красная, сморщенная, с крошечными кулачками, с мокрыми тёмными волосиками на макушке. Она кричала — тонко, обиженно, — а потом, оказавшись у Эммы на руках, у самой её щеки, вдруг замолчала. Открыла глаза. Мутные, синие, ничего не видящие. И посмотрела на Эмму.

Эмма знала, что новорождённые не видят. Она знала это от Двойры, от матери, от кого-то ещё. Но девочка смотрела на неё. Прямо. Внимательно. Слишком внимательно. Будто запоминала, чтобы потом предъявить.

— Здравствуй, — сказала Эмма шёпотом. — Здравствуй. Я — Эмма. Я твоя тётка.

Девочка смотрела.

— Ты родилась в свободной стране, — сказала Эмма. — Ты знаешь? Тебе повезло. Тебе здесь никто не скажет «жидовка». Тебя не будут сечь у конюшни. Ты пойдёшь в школу. Ты, может быть, станешь врачом. — Она помолчала. — Тебе только петь не дадут на фабрике. И Шмидт... — Она не договорила. — Но ты не пойдёшь на фабрику. Слышишь? Не пойдёшь. Я не дам.

Девочка закрыла глаза. И уснула. У неё на руках, у её щеки.

Лена назвала её Стеллой. Звезда. Она сказала, что, когда рожала, в самую страшную минуту, когда ей казалось, что она умирает, она увидела в окне, сквозь метель, звезду. Одну. Хотя метель была такая, что никакой звезды видно быть не могло. Миссис Коэн сказала, что это бывает. Что роженицы много чего видят. Лена сказала, что ей всё равно. Что это была звезда.

Альберт вернулся в субботу. Вошёл, весь в снегу, с мешком через плечо, — и остановился в дверях. Лена лежала на кровати, бледная, похудевшая, со Стеллой у груди. И улыбалась.

Альберт уронил мешок.

Эмма никогда не видела, как плачет мужчина. Отец не плакал никогда — только тогда, в ту ночь, когда пришли жандармы в ателье, у него стояли слёзы в глазах, и он не дал им пролиться. А Альберт плакал. Открыто, громко, некрасиво, как ребёнок. Стоял на коленях у кровати, обняв Лену и Стеллу вместе, и плакал, и бормотал что-то — на идише, на английском, на ломаном немецком, — и Лена гладила его рыжую голову.

Эмма тихо вышла на кухню.

А через неделю, в воскресенье вечером, она услышала через стенку.

Стены здесь были такие же тонкие, как на Песках. Это, наверное, тоже было одно и то же везде — тонкие стены у бедных.

— Доктор, — говорил Альберт. Тихо, чтобы не разбудить Стеллу. — Миссис Коэн — пять долларов. Аптека — два с половиной. Пелёнки. Молоко, если у тебя не хватит. А в Буффало работы больше нет, сказали — до осени. Опять ничего.

— Елена отдаёт четыре в неделю, — сказала Лена.

— Елена. Да. А Эмма? Полтора. Полтора доллара, Лена. За стол, за угол, за уголь. Она ест, как... Я не говорю, что она много ест. Она мало ест. Она вообще ничего не ест, она худая, как палка. Но полтора доллара — это ничего. Это — даже за уголь не хватает.

— Альберт...

— Я знаю. Я знаю. Я не про неё. Я про то, что мы не дотянем. До осени — не дотянем.

Пауза. Стелла завозилась, пискнула. Лена что-то зашептала ей.

— Она получает два с половиной, — сказала Лена. — Тебе отдаёт полтора. Себе оставляет доллар. На доллар в неделю — на обувь, на конку, на штрафы. У неё штрафы каждую неделю. Она из этого доллара мне на прошлой неделе купила мыло. Для Стеллы. Хорошее, французское. Двадцать центов.

Тишина.

— Я не знал, — сказал Альберт.

— Ты ничего не знаешь, — сказала Лена. — Ты только считаешь.

Эмма лежала на тюфяке у плиты и смотрела в темноту. Рядом спала Елена. За окном, в мартовской темноте, капало с крыши — оттепель.

Она думала. Два с половиной доллара. Полтора — Альберту. Один — ей. Альберт прав: полтора — это ничего. Это даже за уголь не хватает. А больше она дать не может. Если отдаст два — останется полдоллара. На штрафы не хватит.

Значит, надо больше получать.

Она лежала и думала об этом до утра. О том, что Шмидт ничего не решает — Шмидт только мастер. Что решает хозяин. Мистер Гарсон. Которого она ни разу не видела — он не поднимался на четвёртый этаж, никогда, — но о котором все говорили. Что он богатый. Что у него дом на Ист-авеню — каменный, с садом, с конюшней. Что он тоже еврей — немецкий, из тех, что приехали сорок лет назад, — и что он жертвует на синагогу, на больницу, на сиротский приют. Что он добрый. Что он справедливый. Что он сам начинал с лотка, с иголок и ниток, ходил по фермам с коробом за спиной.

Значит, он поймёт.

Она решила пойти к нему. Сама. Без Шмидта.

Ей было шестнадцать лет и девять месяцев. Она ещё верила, что если объяснить — поймут.

5. Розы

Розы она увидела в первый раз в феврале, в витрине цветочного магазина на Мэйн-стрит.

Это было по дороге с фабрики — она шла домой не через мост, как обычно, а кругом, по главной улице, потому что Шмидт задержал её на полчаса, переделывать подкладку, и она не

хотела идти через тёмный мост одна. На Мэйн-стрит было светло — горели газовые фонари, витрины, вывески, — и она шла мимо магазинов, мимо шляпных, обувных, мебельных, мимо аптеки с цветными шарами в окне — как у дяди Егора в Ковно, — и вдруг остановилась.

В витрине, на тёмном бархате, стояли розы.

Не много. Пять или шесть. В высокой стеклянной вазе. Красные — тёмно-красные, почти чёрные в глубине, с бархатными лепестками, тяжёлыми, плотными, туго свёрнутыми. На длинных прямых стеблях — длинных, как её рука. С тёмными глянцевыми листьями. И вокруг них, под ними, на бархате, — снег. Ненастоящий, ватный. А за стеклом — настоящий. Февраль. Мороз. Сугробы в человеческий рост. А в витрине — розы.

Она стояла и смотрела. Как когда-то на Невском — на шёлк цвета морской волны, на бархат цвета спелой вишни. «Никогда не посмотрюсь», — сказала она тогда Елене.

Вывеска над витриной: «Эллвангер и Барри. Питомники Маунт-Хоуп. Розы круглый год».

Над розами — маленькая карточка с надписью, красиво, с завитушками. Она прочла по слогам — она уже понемногу читала по-английски, Нора учила её в обед, — «American Beauty».

Американская красавица.

Она не знала, сколько простояла. Потом — сама не зная зачем — толкнула дверь. Звякнул колокольчик. Внутри было тепло, влажно и пахло так, что закружилась голова, — землёй, листьями, мёдом, летом. Как в оранжерее. Как в Летнем саду в сентябре, только гуще. За прилавком стояла барышня в белом переднике — американка, светлая, в высокой причёске.

— Yes? — сказала барышня. Посмотрела на Эммин платок, на Эммину шубку в разводах от ручья, на Эммины руки, красные от холода, с исколотыми пальцами. И улыбка у неё стала другой. Вежливой. Холодной.

— How much? — спросила Эмма и показала на витрину. — The... red. American.

— One dollar and fifty cents, — сказала барышня. И, видя, что Эмма не поняла, повторила медленно, громко, как глухой: — One. Fifty. A piece. Одна штука.

Полтора доллара. За одну розу.

Эмма стояла и считала. Полтора доллара — это то, что она отдаёт Альберту за неделю. За стол, за угол, за уголь. Больше половины того, что она получает за десять с половиной часов в день, шесть дней, за сто пальто, за боль внизу живота, за штрафы, за молчание. Одна роза — это неделя её жизни.

— Thank you, — сказала она и вышла.

Колокольчик звякнул за её спиной.

Она шла домой по Мэйн-стрит, по мосту, по тёмным улицам, и думала об этом. Не с завистью. С каким-то странным, холодным удивлением. Как удивлялась когда-то, узнав, что Шапиро продал её шаль с цветком за два рубля — втридорога. «Работа с душой». А ей удержал рубль.

Теперь она знала, сколько стоит роза. И сколько стоит она.

А в конце марта, через две недели после рождения Стеллы, она пришла в контору Гарсона.

Она не сказала никому — ни Елене, ни Лене, ни Норе. Она просто встала в обеденный перерыв из-за машины, спустилась по внутренней лестнице — не по железной, задней, а по той, широкой, по которой ходили хозяева, — на первый этаж, туда, где была контора. Её никто не остановил. Наверное, никому не приходило в голову, что работница с четвёртого этажа может спуститься по этой лестнице сама.

Внизу было тихо. Ковёр на полу — мягкий, глушил шаги. Стены обшиты тёмным деревом. Портреты в золотых рамах — какие-то бородатые люди в сюртуках. Конторщики за высо-

кими столами — в нарукавниках, с перьями, — подняли головы и уставились на неё. Один, молодой, с напояженным пробором — совсем как клерк в Касл-Гардене, — встал.

— What do you want?

— Mister Garson, — сказала Эмма. И, собравшись с духом, по-немецки: — Ich möchte Herrn Garson sprechen. Bitte.

Конторщик посмотрел на неё так, будто она сказала, что хочет поговорить с президентом. Потом, кажется, решил, что это смешно. Ухмыльнулся. Пожал плечами. Постучал в дверь в конце комнаты — высокую, дубовую, с медной ручкой. Сунул голову внутрь. Что-то сказал. Потом снова посмотрел на Эмму, уже без ухмылки, — с любопытством.

— Go in, — сказал он. — He'll see you.

Она вошла.

Кабинет был огромный. Нет — не огромный. Больше её комнаты на Песках, больше всей Лениной половины дома. Окно во всю стену — на реку, на водопад, на мельницы на том берегу. Ковёр — толстый, персидский, тёмно-красный, такой мягкий, что ноги тонули, как в сугробе. Книжные шкафы со стеклянными дверцами — и в них книги, ряды, сотни, в кожаных переплётах, с золотом на корешках. Камин, в котором горел огонь, хотя в здании было паровое отопление. Кожаные кресла. И посередине — стол. Огромный, тёмный, полированный, как зеркало, и на нём ничего — ни бумаг, ни счетов, — только бронзовая чернильница, пепельница и ваза.

В вазе стояли розы.

Американские красавицы. Тёмно-красные, почти чёрные в глубине. На длинных стеблях. Не пять или шесть, как в витрине на Мэйн-стрит. Двадцать. Может быть, тридцать. Целый сноп. Пышный, тяжёлый, бархатный. И от них по всему кабинету — тот самый запах. Мёд. Земля. Лето. Смешанный с другим запахом — голубоватого сигарного дыма, который медленно поднимался над столом, извиваясь в воздухе причудливыми кольцами.

За столом сидел человек и курил сигару.

Эмма не сразу его заметила. Она смотрела на розы.

Тридцать роз. По полтора доллара. Сорок пять долларов. Она стояла и считала, сама того не желая, — пальцы сами пересчитывали, как пересчитывали медяки в Глашином платке. Сорок пять долларов. Восемнадцать недель её работы. Четыре месяца. Четыре месяца по десять с половиной часов, качая чугунную педаль, — стояли в вазе на столе. И завтра, наверное, завянут. И их выбросят. И принесут новые.

— Well? — сказал человек за столом. — What can I do for you?

Она вздрогнула. Подняла глаза.

Мистер Гарсон был немолод — лет пятидесяти пяти, может быть, — грузный, но не толстый, с аккуратной седой бородой, подстриженной клинышком, с золотой цепочкой от часов поперёк жилета. Лицо у него было спокойное, умное, даже приятное. Не злое. Совсем не злое. Он смотрел на неё поверх сигары внимательно, с лёгким любопытством, как смотрят на что-то необычное, но не слишком важное, — на птицу, залетевшую в окно.

Он не встал. Не предложил ей сесть. Кресла стояли рядом, кожаные, глубокие, — а она стояла посреди ковра, в своём рабочем фартуке, с исколотыми пальцами, с ниткой, приставшей к рукаву.

— Вы говорите по-немецки? — спросила она. По-немецки.

— Говорю, — сказал мистер Гарсон. По-немецки. Чистым, правильным, франкфуртским немецким, — тем самым, каким говорили в Кёнигсберге в хороших домах, куда фрейлейн Шмидт водила её на уроки. — Слушаю.

— Я работаю у вас, — сказала Эмма. — На четвёртом этаже. На машине. Три месяца. Я пришла... я пришла просить прибавки.

Мистер Гарсон поднял брови. Чуть-чуть. Затянулся сигарой. Выпустил дым — медленно, кольцом.

— Прибавки, — повторил он.

— Да. — Она перевела дыхание. Она приготовила эту речь. Ночью, на тюфяке, она говорила её десять раз — по-немецки, чтобы не сбиться. — Я получаю два доллара пятьдесят центов в неделю. Из них полтора доллара я отдаю за стол и угол. У моей сестры только что родился ребёнок, её муж без работы. Мне остаётся доллар. Из этого доллара я плачу штрафы, конку, обувь. На доллар нельзя жить. Нельзя купить книгу. Нельзя пойти в театр — даже на галёрку, за двадцать пять центов. Нельзя...

— В театр, — сказал мистер Гарсон.

Он сказал это без насмешки. Просто — повторил. Как повторяют слово на незнакомом языке, чтобы понять, правильно ли расслышали.

— Да, — сказала Эмма. — В театр. Или книгу. Я люблю читать.

Мистер Гарсон долго смотрел на неё. Потом положил сигару в пепельницу. Откинулся в кресле. Сложил руки на животе, на золотой цепочке.

— Барышня, — сказал он, и голос у него был мягкий, отеческий, почти ласковый. — У вас, для фабричной девушки, довольно дорогие вкусы.

Эмма молчала.

— Театр, — продолжал он. — Книги. Это прекрасно. Это делает вам честь. Но вы поймите. У меня работает четыреста человек. Мужчины, женщины, девушки. И все они довольны. Все. Ни одна не пришла ко мне просить денег на театр. Они живут — и неплохо живут. Скромно, но честно. Откладывают. Кто-то уже купил дом. Кто-то отправил детей в школу. — Он помолчал. — Вот вы — вы откуда?

— Из России. Из Петербурга.

— Из России, — кивнул он, и что-то мелькнуло у него в лице — быстро, как тень, как у хозяйки корчмы когда-то, когда она услышала фамилию «Гольдман». — Ну вот. В России вы, наверное, получали меньше? И работали больше? И вас... — он чуть понизил голос, — вас там, наверное, не очень любили. Как еврейку. Ведь так?

— Так, — сказала Эмма.

— Ну вот. А здесь — свободная страна. Здесь вас никто не обидит. Здесь вы можете ходить в синагогу, не боясь погрома. Здесь вы работаете в чистом, светлом цеху. У хорошего хозяина. У своего. — Он улыбнулся. — Я ведь тоже из ваших, барышня. Тоже еврей. Тоже когда-то приехал сюда без гроша. Ходил по фермам с коробом. Иголки, нитки, пуговицы. Я знаю, что такое бедность. И я вам скажу: бедность — это не позор. Бедность — это школа. Кто работает — тот выбьется. Кто тратит на театры — тот не выбьется никогда.

Он снова взял сигару.

— Если я дам прибавку вам, — сказал он, — мне придётся дать её всем. Всем четырёмстам. А это — я не могу себе позволить. Вы понимаете? Не могу. Дела идут не так хорошо, как вы думаете. — Он затаился. — Так что — нет. Вам придётся справляться. Как справляются все остальные. Или... — он пожал плечами, — или искать работу в другом месте. Это ведь свободная страна. Никто вас не держит.

И он отвернулся к окну. К реке. К водопаду. Разговор был окончен.

Эмма стояла посреди ковра.

Она смотрела на розы. Тридцать американских красавиц по полтора доллара. Сорок пять долларов. В вазе. На столе человека, который не может себе позволить.

И вдруг она поняла — с ледяной ясностью, как тогда, в комнате с отцом, когда он сказал про сто рублей задатка, — она поняла, что он не врёт. Что он и правда так думает. Что он искренне считает себя добрым. Справедливым. Своим. Что он жертвует на сиротский приют и на синагогу. Что он ходил с коробом по фермам. Что он знает, что такое бедность. И что он смотрит на неё сейчас — точно так же, как смотрел Трепов на её мать. Сверху вниз. С креслом, которое не предлагают. С милостью, которой не будет, потому что сегодня — не то настроение.

И тридцать роз на столе — это и есть милость. Только не для неё.

«Хозяин всегда найдётся, — сказала Двойра. — Если его нет — он вырастет. Как гриб после дождя. Из своих».

Мистер Гарсон тоже когда-то ходил с коробом. Тоже был свой. А теперь — розы.

Она не сказала ничего. Не поблагодарила. Не поклонилась. Повернулась и вышла — через дубовую дверь, через контору, мимо конторщиков в нарукавниках, которые смотрели на неё с любопытством, — и поднялась на четвёртый этаж. Не по широкой лестнице. По железной, задней. Через двор. Как положено.

Села за машину. Качнула педаль. Игла застучала.

Шмидт подошёл к ней через минуту.

— Опоздание с обеда, — сказал он. — Двенадцать минут. Десять центов.

Она подняла на него глаза. И Шмидт — впервые за три месяца — отступил на полшага. Она не знала, что у неё было в лице. Но Шмидт отступил.

— Я ухажу, — сказала она по-немецки. Спокойно. Громко. Так, что Нора за соседней машиной подняла голову. И ещё несколько голов поднялись. — В субботу. Расчёт возьму в конторе. Десять центов вычтите из него. И передайте мистеру Гарсону, — она помолчала, — передайте ему, что розы у него в вазе красивые. Очень. Я никогда не видела таких красивых.

Шмидт смотрел на неё, ничего не понимая. Потом пожал плечами и пошёл дальше.

А Нора, за соседней машиной, — Нора, которая никогда не поднимала голову, которая боялась Шмидта больше, чем Бога, — вдруг засмеялась. Тихо, уголком рта, совсем как Ривка. И подмигнула Эмме.

Через четыре дня Эмма нашла другую работу. Маленькая мастерская на северной стороне, в домике в саду, у некоего Рубинштейна. Двенадцать человек. Четыре доллара в неделю. Без Шмидта. Без часов на цепочке. Хозяин сам сидел за машиной вместе со всеми и, говорили, иногда даже насвистывал.

Это было почти вдвое больше. Но дело было не в деньгах. Дело было в том, что она ушла. Сама. Не дожидаясь, пока выгонят. Как тогда, в Петербурге, — когда встала на парапет. Только теперь никто не стоял за спиной. Ни отец, ни Елена. Она сама.

Через восемнадцать лет мистер Гарсон приедет к ней сам. В коляске. В цилиндре. Сядет в Елениной лавке на краешек стула, держа цилиндр на коленях, — потому что Эмма Гольдман к тому времени будет знаменита на всю Америку, и ему захочется, чтобы она сказала что-нибудь хорошее о его фабрике, где как раз будет забастовка. И она не предложит ему сесть. Предложит Елена. А Эмма скажет ему: «Ну, мистер Гарсон? Чем могу служить?» — теми самыми словами. И будет смотреть, как он вспоминает.

Но это будет потом. А в ту ночь, в конце марта восемьдесят шестого года, сидя на кухне у Лены, у остывающей плиты, при огарке, пока все спали — Лена со Стеллой, Альберт, Елена на тюфяке, — Эмма писала письмо.

Она писала по-русски. Печатными буквами. Крупно. Без ятей, без твёрдых знаков, без длинных слов. Так, чтобы Глаша могла прочесть сама. По слогам. Водя пальцем.

ГЛАША ЗДРАВСТВУЙ. ЭТО Я ЭММА. Я В АМЕРИКЕ.

ГОРОД НАЗЫВАЕТСЯ РОЧЕСТЕР. ТУТ МНОГО СНЕГА. БОЛЬШЕ ЧЕМ В ПИТЕРЕ. ПОСРЕДИ ГОРОДА ВОДОПАД. ОН ЗАМЕРЗ. А ВНУТРИ ВСЁ РАВНО ШУМИТ.

СВОБОДУ МЫ НЕ ВИДЕЛИ. ЕЁ ЕЩЁ НЕ ПОСТАВИЛИ. ОНА ЛЕЖИТ В ЯЩИКАХ. ОБЕЩАЮТ К ОСЕНИ.

Я РАБОТАЛА НА ФАБРИКЕ. ШЬЮ ПАЛЬТО. ТУТ ПЕТЬ НЕЛЬЗЯ. ЗА РАЗГОВОР ШТРАФ. ГЕРР БАУЭР БЫЛ ЛУЧШЕ. СКАЖИ ЕМУ ЕСЛИ УВИДИШЬ.

ТУТ НЕ СЕКУТ. ТУТ ПРОСТО ВЫГОНЯЮТ. И ПОТОМ ДЕВУШКА ИДЁТ НА УЛИЦУ У РЕКИ. ТАК ЖЕ КАК У ВАС НА СЕННУЮ.

У ХОЗЯИНА НА СТОЛЕ СТОЯТ РОЗЫ. ОДНА РОЗА СТОИТ КАК Я РАБОТАЮ НЕДЕЛЮ. ЕГО ЗОВУТ ГАРСОН. ОН ТОЖЕ ЕВРЕЙ. ОН СКАЗАЛ ЧТО У МЕНЯ ДОРОГИЕ ВКУСЫ.

Я ОТ НЕГО УШЛА.

ПАПА СКАЗАЛ ЧТО ТУТ ТО ЖЕ САМОЕ ТОЛЬКО ПО-АНГЛИЙСКИ. ОН НЕ СОВСЕМ ПРАВ. ТУТ БОЛЬШЕ. И ЕЩЁ ТУТ НИКТО НЕ ДЕЛАЕТ ВИД ЧТО ЭТО ОТ БОГА. ТУТ ГОВОРЯТ ЧТО ЭТО СВОБОДА.

Я НЕ ЗНАЮ ЧТО ХУЖЕ.

У СЕСТРЫ РОДИЛАСЬ ДОЧКА. ЗВЕЗДА. Я ДЕРЖАЛА ЕЁ ПЕРВАЯ.

СВИСТУЛЬКУ ВАНЬКИНУ Я ОТДАЛА ДЕВОЧКЕ НА КОРАБЛЕ. ЕЁ ЗОВУТ ФЕЙ-ГЕЛЕ. ЭТО ЗНАЧИТ ПТИЧКА. ЕЙ БЫЛО СТРАШНО. СКАЖИ ВАНЬКЕ. ОН НЕ ОБИДИТСЯ.

ТЫ ВЕЛЕЛА УЧИТЬ ТУТ КОГО-НИБУДЬ. Я ЕЩЁ НИКОГО НЕ УЧУ. МЕНЯ САМУ УЧИТ ИРЛАНДКА НОРА. ПО-АНГЛИЙСКИ. Я УЖЕ ЗНАЮ СЛОВО FREE. ЭТО ЗНАЧИТ СВОБОДНЫЙ. И ЕЩЁ ЭТО ЗНАЧИТ БЕСПЛАТНЫЙ. ДАРОМ.

СМЕШНО ДА?

ПИШИ МНЕ. АДРЕС ВНИЗУ. ЕЛЕНА КЛАНЯЕТСЯ.

ТВОЯ ЭММА.

Она перечитала. Подумала. Потом, в нижнем углу листа, там, где кончалось письмо, — там, где никто не будет смотреть, — она нарисовала карандашом крошечный цветок. Пять лепестков. Не больше ногтя.

Глаша не поймёт, что это значит. Не надо. Эмма знала.

Она сложила письмо, надписала конверт — по-русски и по-английски, — и положила под подушку. Утром Елена отнесёт на почту.

За окном шёл дождь. Первый весенний дождь в городе цветов. Он стучал по крыше веранды, по вёдрам с углём, по голому вязу. А где-то там, внизу, в центре, под мостом, водопад на Дженеси — Эмма знала это, хотя не могла этого слышать, — водопад впервые за зиму ломал свой лёд. Глыба за глыбой. С грохотом. С гулом. И вода, которая всю зиму шла внутри, подо льдом, невидимая, — вырывалась наружу.



Глава 9. Восемь часов

1. Музыка

Мастерская Рубинштейна стояла в саду.

Эмма не поверила, когда ей сказали. Фабрика — в саду? Но это была правда. На северной стороне, за Сент-Джозеф-стрит, где кончались тротуары и начинались огороды, за деревянным забором, выкрашенным когда-то в зелёный, стоял старый двухэтажный дом с верандой, и вокруг него — яблони. Шесть старых яблонь, корявых, с замшелыми стволами. В апреле, когда Эмма пришла туда в первый раз, они стояли голые, чёрные, мокрые от дождя. А через три недели зацвели — все разом, за одну ночь, — и Эмма, войдя утром в калитку, остановилась, как останавливалась перед витринами на Невском. Сад был белый. Весь. Белый и розовый, и пах так, что кружилась голова, и лепестки падали на мокрую траву, на дорожку, на ступени веранды, на её платок.

— Каждый год так, — сказал Рубинштейн, выйдя на веранду в жилетке, с сантиметром на шее. — Две недели. Потом облетает. Работать мешает — девушки в окна смотрят. — Он помолчал, глядя на яблони. — Пусть смотрят. Две недели. Не обеднею.

Он был маленький, лысый, с рыжей бородой, в которой застряли нитки, — из Бердичева, приехал двадцать лет назад, начинал, как все, с лотка и короба. Он не стал Гарсоном. Он стал Рубинштейном: двенадцать работников, шесть машин, заказы от больших фабрик — пальто, которые фабрики не успевали шить сами, — и долги, о которых он говорил так же спокойно, как о погоде. Он сам сидел за машиной. С утра до вечера, вместе со всеми, в первом ряду. И, когда шов шёл хорошо, насвистывал. Всегда одно и то же — какую-то бердичевскую песенку, весёлую и печальную сразу, — и через неделю Эмма поймала себя на том, что насвистывает её тоже, по дороге домой.

Разговаривать здесь было можно. Петь — тоже. Никто, правда, не пел. Американские привычки, объяснил Рубинштейн, — люди отвыкают. Но разговаривать — разговаривали. Тихо, за машинами, на идише, по-русски, по-польски. Жаловались на квартирных хозяев. Сва-тали друг другу родственников. Спорили, кто лучше — демократы или республиканцы, хотя голосовать не мог никто. Ругали немецких евреев. Ругали ирландцев. Ругали погоду.

Четыре доллара в неделю. Почти вдвое больше, чем у Гарсона. Альберту — два. Себе — два. На два доллара можно было жить. Можно было купить книгу — подержанную, у старьёвщика на Фронт-стрит, за десять центов. Можно было пойти в театр на галёрку. Она не пошла ни разу — некогда, и не с кем, и боязно одной вечером. Но знать, что можно, — это было уже другое.

Её посадили за машину у окна. Окно выходило в сад. А за соседней машиной сидел молодой человек.

Она заметила его не в первый день и не во второй. Он был тихий, сидел, согнувшись, строчил ровно и быстро, ни с кем не разговаривал. Высокий, худой, с тонким бледным лицом и тёмными волосами, которые падали на лоб, — он отводил их рукой, тем же движением, каким Коля поправлял очки. Руки у него были красивые. Это Эмма заметила первым делом — у неё всегда была эта привычка, с перчаточной фабрики, смотреть на руки. Длинные пальцы, узкие запястья. Не руки портного. Руки человека, который играет на фортепиано или пишет стихи — и почему-то шьёт пальто.

На третий день, в обед, она сидела на ступенях веранды с хлебом и селёдкой, а он вышел, сел поодаль, на перила, и достал из кармана книгу. Маленькую, потрёпанную, в бумажной обложке. Эмма вытянула шею. Буквы на обложке были русские.

— Это что? — спросила она по-русски. Не подумав. Как спросила бы Глашу.

Он вздрогнул. Поднял голову. Посмотрел на неё — удивлённо, недоверчиво, будто она заговорила с ним по-китайски.

— Вы — говорите по-русски? — спросил он.

— Говорю.

— По-настоящему? Не «скоко стоит» и «давай-давай»?

— По-настоящему. Я из Петербурга.

Он закрыл книгу. Встал с перил. Подошёл и сел на ступеньку рядом с ней — не слишком близко. И долго смотрел на неё, и лицо у него было такое, будто ему подарили что-то, чего он давно перестал ждать.

— Тургенев, — сказал он и показал обложку. — «Дым». Я его уже в четвёртый раз читаю. Больше нет ничего. Здесь не достать. Я из Одессы привёз пять книг — и все уже наизусть.

— У меня был «Отцы и дети», — сказала Эмма. — Мне подарили. Я его в Петербурге оставила.

— «Отцы и дети», — повторил он медленно. И вдруг засмеялся — тихо, радостно. — Господи. Здесь, в Рочестере, в саду у Рубинштейна, — «Отцы и дети». Я думал, здесь никто, кроме меня, не знает, кто такой Базаров.

— Базаров противный, — сказала Эмма. — Но прав.

Он засмеялся снова — громче. Двое рабочих на другом конце веранды обернулись.

— Яков, — сказал он и протянул руку. — Кершнер. Яков Кершнер. Из Одессы.

— Эмма, — сказала она. — Гольдман.

Она пожала руку. Рука была тёплая, сухая, узкая. Он держал её на секунду дольше, чем надо. Потом отпустил.

Его русский был — она не сразу поняла, что именно с ним не так. Потом поняла. С ним было всё так. Это был настоящий русский — не Глашин, деревенский, тверской, с «чаво» и «ихний»; не Колин, студенческий, книжный, с заиканием; не Северцева, с его иронией и иностранными словами. Это был русский, на котором говорят в хороших домах, в гимназиях, в театрах. Мягкий, певучий, с южным выговором — одесским, как она потом узнала, — с этими круглыми «о», с этим смешным «шо» вместо «что», которое он сам за собой замечал и поправлял. Он говорил — и она слушала, как слушала когда-то Глашины песни. Не слова — музыку. Три месяца она не слышала русского. Только Еленин, дома, вполголоса. А тут — сидит человек на ступеньке, в яблонево́м саду, и говорит по-русски о Тургеневе, о Базарове, о дыме, — и у неё щиплет в носу, и хочется плакать, неизвестно отчего.

Ему было двадцать один. Он приехал в Америку в восемьдесят первом — пять лет назад, шестнадцатилетним, один, — после погрома.

— Какого? — спросила Эмма.

— Одесского, — сказал он. — Весной. Сразу после того, как царя убили. — Он помолчал. — Ты не знаешь. Ты в Кёнигсберге была. Там не было. А у нас... — Он отвёл волосы со лба. — Три дня. Толпа. Пьяные. Мастеровые, грузчики из порта, бабы с корзинами — за добычей. Кричат: «Бей жидов, они царя убили». А полиция — стоит. Смотрит. Три дня стоит и смотрит. — Он снова помолчал. — Отец закончил гимназию в Одессе. Я закончил гимназию в Одессе. Мы были — понимаешь — мы были почти русские. Отец читал Пушкина вслух по вечерам. А они пришли и разбили отцу голову. Не до смерти. Просто — разбили. И книги выбросили в окно. Пушкина тоже. Я потом собирал их по двору. Пять подобрал. Остальные — в грязь.

Эмма молчала.

— Через месяц я уехал, — сказал он. — Отец сам купил билет. Сказал: здесь не будет ничего. Езжай. Я и поехал. Профессии у меня не было — гимназия, латынь, греческий, Пушкин. Кому здесь нужен греческий? Научился на машине. Теперь шью пальто. — Он улыбнулся невесело. — Оператор на пальто. Так это здесь называется. Как будто я телеграфист.

— А дома? — спросила Эмма. — Отец?

— Умер. Два года назад. Голова так и не зажила. — Он пожал плечами. — Мать с сёстрами. Пишут иногда.

Они помолчали. Лепестки падали с яблонь на ступеньки, на подол Эмминого платья, на его колени.

— Знаешь, что самое страшное? — сказал он вдруг. — Я здесь пять лет. И ни одного друга. Ни одного. Все, кто вокруг, — они хорошие люди, наверное. Но они говорят только о деньгах. Как открыть свою мастерскую. Как купить дом. Как выдать дочь за сына богатого. Рубинштейн — и тот. Хороший человек, но — деньги, долги, заказы. Я пробовал им читать Тургенева. Они смеялись. — Он посмотрел на неё. — Я тебя видел. На улице. Несколько раз. Ещё зимой. Знал, что вы с сестрой приехали из Петербурга. Хотел подойти. Не знал как. Подумал — она подумает, что я... — Он смутился. — Ну, ты понимаешь.

— Понимаю, — сказала Эмма.

Она понимала. Она понимала очень хорошо, о чём он думает, что она подумает. И она думала это. Где-то внутри, глубоко, в том месте, где был коридор с шипящим рожком, — она думала. «Он подошёл. Он говорит о книгах. Он говорит, что я необычная — нет, он ещё не сказал. Но скажет».

И одновременно она думала: нет. Это — другое. Он не стоял у фонаря неделю. Он не выбирал. Он просто сидел на перилах с Тургеневым, а она сама спросила. Она сама.

Два чувства. Сразу. Одно — тёплое, тянущее, как музыка его речи. Другое — холодное, как сквозняк из открытой двери.

— Я тебе дам «Дым», — сказал он. — Почитай. А ты мне расскажешь, что там в Петербурге. Я там никогда не был. Мечтал всю жизнь. Невский, Нева, Эрмитаж. — Он вздохнул. — Расскажешь?

— Расскажу, — сказала Эмма.

Он стал ждать её по утрам — у калитки Лениного дома, в половине седьмого. И провожать вечером. Они шли через северную сторону, мимо деревянных домов, под голыми ещё вязами, и он говорил о Тургеневе, о Пушкине, об Одессе, о море, — а она говорила о Неве, о белых ночах, о Летнем саде, о Варшавском вокзале и о похоронах, на которых шли тысячи людей молча. О Северцеве она не рассказывала. О Коле — немного. О Глаше — много. О клерке — ничего.

В воскресенье Лена велела пригласить его на обед.

— Хоть посмотрим, кто это за тобой по утрам ходит, — сказала она. — А то соседка с веранды уже спрашивает.

Он пришёл в чистом воротничке, с букетиком ландышей, купленных на рынке, — для Лены. Был вежлив. Хвалил Ленин суп. Качал Стеллу на коленях, и Стелла не плакала. Говорил с Альбертом о жести, о котлах, о том, где сейчас можно найти работу, и Альберт, который никогда ни с кем не разговаривал дольше двух минут, проговорил с ним час. Когда он ушёл, Лена сказала:

— Хороший. Образованный. Тихий. Не пьёт, видно. — Она посмотрела на Эмму. — Ну-ну.

— Что «ну-ну»?

— Ничего. — Лена улыбнулась, впервые за долгое время. — Я в твои годы уже была просватана.

А Елена ничего не сказала. За весь обед — почти ни слова. Сидела, ела, смотрела в тарелку. А когда Кершнер, прощаясь, поцеловал ей руку, — по-одесски, по-гимназически, — Эмма увидела, как у неё чуть дрогнуло лицо. Как будто она проглотила что-то горькое.

Ночью, на тюфяке у плиты, Эмма спросила:

— Он тебе не нравится?

Елена долго молчала.

— Не знаю, — сказала она наконец. — Он хороший. Он правда хороший. Только...

— Что?

— Он слабый, Эмма. — Елена повернулась к ней в темноте. — Ты видела, как он про отца рассказывал? Про погром? Он рассказывал — и улыбался. Он улыбается, когда больно. Как будто извиняется. Как будто он сам виноват, что ему разбили голову.

— А как надо?

— Не знаю. — Елена снова отвернулась. — Не знаю как. Но не так. Спи.

Эмма не спала долго. Она думала о том, что Елена, наверное, права. И о том, что ей всё равно. Потому что ей хотелось слушать, как он говорит. Только и всего. Слушать. Музыку.

2. Первое мая

Слово «восемь» Эмма услышала в первый раз от Рубинштейна. В конце апреля, в обед, когда все сидели на веранде под цветущими яблонями.

— Восемь часов, — сказал Рубинштейн, разворачивая немецкую газету. — Опять. Все газеты пишут. Первого мая — по всей Америке. Все бросают работу. Все разом. Требуют восемь часов.

— Восемь часов чего? — спросила Эмма.

— Работы, — сказал Рубинштейн. — В день. Восемь часов работать. Восемь — спать. Восемь — на что хочешь.

Над верандой стало тихо. Даже девушки, которые сплетничали на краю, замолчали.

— Восемь, — повторила Эмма.

Она работала десять. У Гарсона — десять с половиной. На перчаточной фабрике на Васильевском — двенадцать. У мадам Зильберг — двенадцать, а иногда и тринадцать, когда генеральше срочно нужен корсет к балу. Восемь. Это было — она стала считать — это было так мало, что казалось сказкой. Как стеклянный дворец из четвёртого сна. Восемь часов работы — и потом ещё восемь, на что хочешь. Можно читать. Можно ходить в театр. Можно сидеть в саду. Можно спать, сколько хочешь, а не так, чтобы засыпать над машиной и просыпаться от того, что игла прошла через палец.

— А что значит — на что хочешь? — спросила одна из девушек, полька, Ядвига, очень серьёзно.

— А то и значит, — сказал Рубинштейн. — Что хочешь. Хоть на голове стой.

Все засмеялись. Потом Ядвига сказала:

— Я бы спала.

И все засмеялись снова, но уже как-то по-другому — тихо, невесело, понимающе.

— И что, — спросила Эмма Рубинштейна, — дадут?

Рубинштейн сложил газету. Посмотрел на неё поверх очков.

— А ты как думаешь? — сказал он. — Вот я тебе скажу. Если мне велят — восемь часов, за ту же плату, — я разорюсь. За месяц. Я и так в долгах. Мне фабрика платит за пальто — столько-то. Если вы будете шить восемь часов вместо десяти — вы сошьёте меньше. Я получу меньше. А вам плачу — столько же. Откуда я возьму?

— Значит, вы против? — спросила Эмма.

— Я? — Рубинштейн вдруг засмеялся. — Я — за. Я сам двадцать лет работаю по двенадцать часов. Я хочу восемь. Я хочу на голове стоять. — Он поднял палец. — Только пусть сначала дадут Гарсону. И Истмену. И всем этим, на Ист-авеню, с каменными домами. Они выдержат. Они даже не заметят. А потом пусть дадут и мне. Тогда фабрика будет платить мне больше за пальто — потому что ей самой некуда будет деваться. — Он развёл руками. — А

если дадут только мне, а Гарсону — нет, — меня сожрут. Через месяц. Маленьких всегда жрут первыми.

Эмма слушала и думала. Это было похоже на то, что сказала когда-то Двойра на Васильевском, про мастерскую в Вильне. И на то, что спорили в дымной комнате у Сони, на сходке. Что одному — нельзя. Что надо всем сразу. Что маленького сожрут.

— А мы? — спросила она. — Мы тоже должны бросить работу? Первого мая?

Рубинштейн долго смотрел на неё. Потом снова развернул газету.

— Это свободная страна, — сказал он, не поднимая глаз. — Хотите — бросайте. Я не держу. — И, помолчав: — Только первого мая — суббота. Короткий день. До обеда. Можете бросить в обед. Я не замечу.

Первое мая было серое, тёплое, с мелким дождём.

В Рочестере ничего не случилось. То есть — почти ничего. Несколько сот рабочих — немцы в основном, табачники, бочары, пивовары — собрались вечером у Германия-холла, в центре, с флагами и оркестром. Эмма пошла туда с Кершнером. Елена не пошла — она работала у Истмена, там субботы были полные. Альберт тоже не пошёл — сказал, что это немецкие дела, а немцы его на работу всё равно не возьмут.

У Германия-холла былолюдно, но не таклюдно, как она думала. Человек пятьсот. Может быть, восемьсот. Немцы — в чистых воскресных сюртуках, в котелках, с жёнами, с детьми на плечах. Красные флаги — Эмма увидела их впервые в жизни, вот так, открыто, на улице, днём, на древках, и долго смотрела, не веря. Никто их не срывал. Полиция стояла поодаль — человек десять, в шлемах, с дубинками, — и смотрела скучно. Оркестр играл марш. Потом какой-то старик в очках, седой, с длинной бородой, влез на бочку у входа и говорил по-немецки — долго, громко, взмахивая рукой. Эмма понимала каждое слово. Он говорил о Чикаго. О том, что там сегодня бастуют сорок тысяч. Что по всей Америке — триста тысяч. Что это — начало. Что рабочий класс Америки проснулся.

А потом толпа запела.

Эмма не знала эту песню. Её пели по-английски, и мелодия была простая, бодрая, маршевая, как у солдат, и все — все пятьсот, восемьсот — пели её хором, и немецкие бочары с жёнами пели её с немецким акцентом, и дети на плечах у отцов пели её, путая слова.

Eight hours for work, eight hours for rest, Eight hours for what we will!

Восемь часов на работу. Восемь — на отдых. Восемь — на что хотим.

Кершнер перевёл ей шёпотом, хотя она уже поняла. Последнюю строчку она запомнила сразу — и запела вместе со всеми, неуверенно, с ужасным акцентом. «Эйт аурс фор вот ви вилл!» Кершнер засмеялся и тоже запел.

Это было как на Васильевском. Как Глашина песня, которую подхватывает весь цех. Только громче. Только на улице. Только под красными флагами, и никто их не срывает. Эмма пела, стоя под дождём, рядом с одесским гимназистом, в толпе немецких бочаров, — и у неё горели щёки, и что-то поднималось внутри, такое же сильное, как тогда, на балу, когда музыка вошла в ноги, в спину, во всё тело.

— Яков, — сказала она, когда песня кончилась. — Яков, ты понимаешь? Это — все. Все разом. Как восемь тысяч ткачей у Морозова. Помнишь, я тебе рассказывала? Глаша читала в газете. Все — разом.

— Понимаю, — сказал Кершнер. Он улыбался. Но улыбка у него была какая-то осторожная. Он оглянулся на полицейских. — Пойдём, Эмма. Дождь. Простудишься.

— Подожди. Ещё одну.

— Пойдём.

Они ушли до конца. Эмма оглядывалась.

А через четыре дня, в среду, утром, мальчишки-газетчики на Мэйн-стрит кричали так, что их было слышно с моста над водопадом.

— Экстра! Экстра! Бомба в Чикаго! Анархисты убили полицейских! Бойня на Хеймаркете! Экстра!

Эмма купила газету на свои два цента. Английскую — других не было. Она ещё плохо читала по-английски, но заголовок прочла сразу. Он был напечатан огромными чёрными буквами, на полстраницы.

«АНАРХИСТЫ БРОСИЛИ БОМБУ».

И ниже, буквами помельче: «Убиты полицейские. Десятки раненых. Красный бунт в Чикаго. Город на военном положении. Арестованы зачинщики».

Она стояла посреди тротуара с газетой в руках, и люди обходили её, задевая плечами, — как тогда, на Невском, — и у неё было странное чувство, что она это уже видела. Не здесь. Не сейчас. В Кёнигсберге. В марте. У ратуши. Плакат с чёрной каймой, влажный от клея. Люди стоят перед ним, шляпы в руках. «Нигилисты». «Злодеи». «Враги рода человеческого». Слово «нигилисты» напечатано крупнее остальных, как имя главного героя.

Здесь крупнее остальных было напечатано другое слово. «Анархисты».

Она не знала, что это значит. Она слышала его — раз или два, — на сходке у Сони, кто-то говорил про Бакунина. Ещё раньше — от Северцева, который, кажется, ругал кого-то анархистом, как ругают дураком. Она не знала. Она только видела, что слово стоит на том же месте, где пять лет назад стояло «нигилисты». И что набрано оно тем же жирным шрифтом. И что люди вокруг неё читают его с тем же лицом.

У Рубинштейна в тот день никто не работал как следует. Все читали газеты. Рубинштейн принёс немецкую, кто-то — еврейскую нью-йоркскую, кто-то — английскую. Читали вслух. Переводили друг другу. Спорили.

Получалось так. В понедельник, третьего, в Чикаго, у завода Маккормика — того, что делает жатки, — бастующие рабочие подрались со штрейкбрехерами. Приехала полиция. Стреляла в толпу. Убила двоих — или четверых, или шестерых, газеты писали по-разному. Во вторник, четвёртого, вечером, рабочие собрались на митинг протеста — на Хеймаркете, на Сенной площади. Было тихо. Шёл дождь. Сам мэр города приходил послушать — и ушёл, сказав, что всё спокойно. Народ уже расходился. И тогда пришла полиция — сто восемьдесят человек — и велела разойтись. И в этот момент кто-то — никто не видел кто — бросил бомбу. В полицейских. И полицейские стали стрелять — во все стороны, в толпу, друг в друга, в темноте, под дождём.

— Сенная площадь, — сказала Эмма вслух.

Все посмотрели на неё.

— Хеймаркет, — объяснила она. — Это значит — сенной рынок. Сенная. У нас в Петербурге тоже есть Сенная. Там... — Она не договорила. Там — куда идут девушки, которых выгнали. Ривкина сестра. «Если жива».

— Сумасшедшие, — сказал Кершнер.

Он сказал это тихо, но все услышали.

— Кто? — спросила Эмма.

— Эти. Которые бомбу. Анархисты. — Кершнер отложил газету. Лицо у него было бледное, и он не улыбался. — Это сумасшедшие, Эмма. Знаешь, что теперь будет? Теперь будет то же, что в Одессе. Теперь все газеты будут кричать: «Бей!» Не жидов — так иностранцев. Немцев, евреев, поляков, русских — всех, кто говорит с акцентом. Теперь всех нас... — Он замолчал.

— А если это не они? — сказала Эмма.

— Как — не они?

— Тут написано — никто не видел, кто бросил. Никто. — Она ткнула пальцем в газету. — Тут написано «предполагают». И «по-видимому». И «есть основания считать». А в заголовке

— «анархисты бросили». Яков, ты же гимназию кончил. Ты же умеешь читать. Тут в заголовке — одно, а в тексте — другое.

Кершнер смотрел на неё.

— Какая разница, — сказал он наконец устало. — Они или не они. Толпе всё равно. Толпе нужен кто-нибудь. В Одессе тоже никто не видел, кто убил царя. Им сказали — жида. Им этого хватило.

Эмма молчала. Он был прав. Он был совершенно, страшно прав. И именно поэтому — она не могла бы объяснить почему — ей вдруг стало обидно на него. Как будто правота его была какая-то не та. Правота человека, который улыбается, когда больно.

— Значит, надо, чтобы толпе было не всё равно, — сказала она.

— Как?

— Не знаю, — сказала Эмма. — Не знаю ещё.

Газеты кричали неделю. Месяц. Всё лето. Эмма читала их каждый день — по-английски, с каждым днём всё лучше, водя пальцем по строчкам, как Глаша когда-то. Анархисты. Бомбометатели. Красные. Иностранцы. Немецкие подстрекатели. Чикагская полиция арестовала сотни людей — без ордеров, вламываясь в дома, в типографии, в рабочие клубы. Газеты требовали виселиц. Священники с кафедр требовали виселиц. Одна газета, нью-йоркская, напечатала: «Нет такого понятия, как анархист, имеющий права. Анархист — это бешеная собака». Другая — что их надо вешать без суда, на фонарях, как в старые времена. Третья — что всех иностранцев надо выслать из страны, а тех, кто приедет, проверять на границе, нет ли у них в голове опасных мыслей.

Эмма читала это и думала о рыжем околоточном с бакенбардами. «Тут, видишь ли, Гольдман, новые веяния. После известных событий. Государь император изволит интересоваться, кто и на каком основании проживает в столице. Особенно из ваших».

Только здесь не было государя императора. Здесь была свободная страна.

Арестовали восьмерых. Тех, кто выступал на митинге, и тех, кто писал в рабочей газете, и тех, кого просто знали как анархистов. Газеты печатали их портреты — гравюры, грубые, злые, с бородами, с дикими глазами. Шпис. Парсонс. Филден. Шваб. Фишер. Энгель. Лингт. Нееб. Пятеро — немцы. Один — англичанин. Один — американец, из Техаса, бывший солдат южной армии, Парсонс, — и жена у него, писали газеты, была негритянка или мексиканка, газеты не могли решить, и это, кажется, было ещё хуже, чем бомба.

Эмма вырезала портреты из газет. Сама не знала зачем. Сложила их в Колиного Некрасова, между страниц, туда, где у неё лежал обрывок с Базаровым и Четвёртым сном.

Она смотрела на эти лица. Злые, дикие, нарисованные гравёром, который их ненавидел. И вспоминала другое лицо, которого не видела никогда, но придумала однажды ночью в Кёнигсберге. Лицо женщины в тёмном платье, которая шла к виселице, не оглядываясь. Тогда, пять лет назад, она придумала Перовской лицо — и оно получилось похожим на Елену.

Эти лица — нарисованные — не были похожи ни на кого. Ни на кого из живых.

Она решила, что гравёр врёт.

3. Два огня

Пятнадцатого июня ей исполнилось семнадцать — и в тот же день не исполнилось.

Это обнаружила Елена. Утром, за завтраком, она поцеловала Эмму в лоб и сказала: «С днём рождения». А Альберт, который как раз читал календарь, висевший на стене, — бесплатный, от бакалейщика, с картинкой, — удивился.

— Сегодня пятнадцатое? — спросил он. — Сегодня двадцать седьмое.

— По-нашему — пятнадцатое, — сказала Елена.

— По-вашему, — сказал Альберт и засмеялся. — Вы где живёте? В Америке. Тут другой календарь. Тут вперёд на двенадцать дней. У тебя, Эмма, день рождения был двенадцать дней назад. Ты уже две недели как семнадцатилетняя.

Эмма смотрела на календарь. На картинку — румяная девушка с корзиной яблок. На цифры. Двадцать седьмое июня тысяча восемьсот восемьдесят шестого года.

Двенадцать дней. Она прожила их, не зная, что ей уже семнадцать. Просто — переехала через океан, и двенадцать дней пропали. Или не пропали — просто она их не заметила. Как не замечаешь, как пересекаешь границу, если тебя ведут через ручей ночью.

— Так когда же мне праздновать? — спросила она.

— Когда хочешь, — сказал Альберт. — Это свободная страна. — И снова засмеялся.

Она решила праздновать оба дня. И в оба — пошла на работу, как всегда.

А в субботу Кершнер позвал её на танцы.

Он сказал это по дороге домой, вечером, не глядя на неё, — смущённо, отводя волосы со лба.

— В субботу, — сказал он. — В Германия-холле. Пикник у немецкого певческого общества. Днём — в парке, за городом, а вечером — танцы в зале. Оркестр. Я каждый год хожу. Один. — Он помолчал. — Пойдёшь?

Эмма остановилась.

Танцы.

Она не танцевала с той ночи. С той февральской масленичной ночи в Немецком клубе на Мойке. Шестнадцать месяцев. Она не думала об этом. Нет — думала. Каждый раз, когда слышала музыку — шарманку на Мэйн-стрит, оркестр у Германия-холла первого мая, Рубинштейнову песенку, — где-то в ногах, в спине, отзывалось. Раз-два-три. И тут же — холод. Потому что после той ночи был коридор. Ключ. Невский. Нева.

— Не знаю, — сказала она.

— Если не хочешь...

— Хочу, — сказала Эмма. И сама удивилась, как быстро и как громко это сказала. — Хочу. Пойду.

Пикник был в Германия-парке, за городом, на берегу озера Онтарио, — туда ехали на конке, потом шли пешком через луг, через рощу, и Эмма впервые увидела, что Рочестер — не только деревянные дома и сугробы. Был июнь. Луг цвёл — клевером, ромашкой, какими-то жёлтыми цветами, которых она не знала. Роща шумела. Озеро было огромное, как море, — до горизонта, серо-голубое, с белыми барашками, и пахло оно не солью, как море в Гамбурге, а пресной водой, водорослями и ветром. На лугу стояли длинные столы на козлах, и на них — пиво в кружках, сосиски, кислая капуста, крендели, пироги. Немцы — сотни немцев, целыми семьями, — сидели за столами, пели хором, пили пиво, играли в кегли. Дети бегали. Оркестр играл польку.

Эмма ехала туда с Еленой. Кершнер должен был ждать у входа. Елена пошла с неохотой — Эмма упростила её, сказала, что одна не поедет. Елена надела своё серое шёлковое, перешитое из маминого, — то самое, в котором была на балу на Мойке. Эмма надела синее кашемировое с голубым бантом.

Она достала его из сундука накануне вечером. Впервые с марта восемьдесят пятого. Развернула. Посмотрела. Бант был смятый, выцветший, с одного края распустившийся — так и не подшила тогда, после бала. Кашемир пах нафталином и — совсем чуть-чуть — чем-то ещё. Тем залоом. Свечами. Её потом.

Она долго стояла с ним в руках. Потом надела. И мать бы не узнала — она сама себя не узнала. Платье стало мало в груди. Узко в плечах. Коротко в рукавах — запястья торчали. Она выросла. За шестнадцать месяцев. Она этого не замечала — некогда было, и зеркала не было, — а платье заметило.

Она перешила его за ночь. Распустила вытачки, надставила рукава полосками от старой Елениной блузки, подшила бант. Утром Елена посмотрела и ничего не сказала. Только кивнула.

Кершнер ждал у входа в парк, в соломенной шляпе, с тросточкой, в светлом летнем пиджаке, которого Эмма никогда на нём не видела. Увидев её, он снял шляпу. И ничего не сказал. Просто стоял и смотрел, держа шляпу в руке. Елена прошла мимо него и пошла к столам.

— Ты... — сказал он наконец. — Ты сегодня... — Он не договорил. Покраснел. — Пойдём. Там лимонад.

Днём они гуляли. Ели крендели, пили лимонад, смотрели, как немцы играют в кегли. Кершнер рассказывал про Одессу — про море, про лиманы, про Ланжерон, про то, как он мальчишкой нырял с пирса. Эмма слушала. Елена сидела за столом с какими-то немками, с которыми работала у Истмена, и не смотрела в их сторону. Только однажды Эмма заметила, что рядом с Еленой сидит какой-то человек — немолодой, невысокий, в очках, тихий, с аккуратной бородкой, — и что Елена с ним разговаривает. Что Елена — смеётся.

— Кто это? — спросила она у Кершнера.

— Это? — Кершнер посмотрел. — Хохштейн. Яков Хохштейн. Тоже из наших, из Литвы. Переплётчик. У него мастерская на Сент-Пол. Вдовец. Тихий. Книги любит. — Он усмехнулся. — Два Якова, а?

— Два Якова, — повторила Эмма.

Она смотрела на Елену. Елена смеялась — тихо, прикрыв рот ладонью, как смеялась когда-то в Петербурге над шутками Северцева. А тихий человек в очках что-то показывал ей — какую-то маленькую книжку в кожаном переплёте, — и держал её осторожно, бережно, обеими руками, как держат птицу.

Вечером были танцы.

Германия-холл был не Немецкий клуб на Мойке. Деревянный зал с низким потолком, с керосиновыми лампами вместо хрустальных люстр, с бумажными гирляндами вместо зеркал. Пахло пивом, потом, табаком, опилками на полу. Оркестр — шесть человек, — сидел на маленькой сцене в конце зала и играл громко и не очень стройно. Танцевали немецкие мастеровые с жёнами, немецкие барышни в белых платьях, приказчики, конторщики, несколько ирландцев, несколько евреев. Было тесно, жарко, шумно, весело.

Эмма стояла у стены и смотрела, как кружатся пары. И не двигалась.

— Пойдём? — сказал Кершнер.

— Подожди.

Оркестр заиграл вальс.

Раз-два-три. Раз-два-три.

Она узнала этот вальс. Нет — не узнала, вальсы все похожи. Но ноги узнали. Ноги вспомнили — сами, без неё, — как кружились по паркету под люстрами. Как петля на шали — петля, накид, две вместе. Как ёлочки на льду — сорок две, ни разу не сбилась. Раз-два-три.

— Пойдём, — сказала она.

Он взял её за руку. Положил другую руку ей на талию. Легко, почти не касаясь. И повёл.

Он танцевал хорошо. Лучше, чем гимназист на Мойке, лучше, чем аптекарь, лучше всех, с кем она танцевала тогда. Легко, уверенно, плавно, — так, будто учился в Одессе у какого-нибудь французского учителя танцев, и, наверное, учился. Он вёл, и она шла за ним, и через минуту перестала думать о ногах. Через две — перестала думать вообще. Зал закружился. Лампы закружились. Бумажные гирлянды закружились. Музыка вошла в неё — в ноги, в спину, во всё тело, — как тогда. Как вода в сухую землю. И тело, которое шестнадцать месяцев было чужим, — которое она тёрла мочалкой до крови, которое она не могла видеть в зеркале, — это тело вдруг выпрямилось. И полетело. Само. Как тогда.

Она засмеялась. Громко. Кершнер засмеялся тоже.

— Эмма, — сказал он ей на ухо. Близко. — Эмма, ты танцуешь, как...

И его рука на её талии — легко, почти не касаясь, — вдруг стала тяжелее. Не сильно. Чуть-чуть. Он притянул её ближе. На полдюйма. На дюйм. Так, как притягивают в вальсе на повороте. Ничего больше.

Щёлкнул ключ.

Она остановилась. Посреди зала. Посреди вальса. Так резко, что пара сзади налетела на них, и кто-то выругался по-немецки.

Коридор. Длинный, полутёмный, с одинаковыми дверями. Шипящий рожок в конце. Запах — табак, воск, чужие духи, капуста с кухни. Его спина впереди. Он не оборачивается. Ключ.

— Эмма? — Кершнер смотрел на неё. Его рука всё ещё лежала на её талии. — Эмма, что?

Она не могла ответить. Она не могла дышать. Рука на талии — его рука, тёплая, узкая, с длинными пальцами, рука человека, который читает Тургенева, — жгла сквозь кашемир, как раскалённое железо. Ей хотелось оттолкнуть её. Ударить. Закричать. Бежать.

И одновременно — она это чувствовала, она не могла это не чувствовать, — одновременно ей хотелось, чтобы рука осталась. Чтобы он притянул её ещё ближе. Ещё на дюйм. Чтобы снова закружилось, и чтобы он говорил ей на ухо по-русски, и чтобы она смеялась.

Два огня. Сразу. В одном теле.

Она отступила на шаг. Его рука соскользнула с её талии.

— Мне надо выйти, — сказала она. — Жарко. Мне надо выйти.

— Я с тобой...

— Нет. Одна. Пожалуйста. Одна.

Она пошла через зал — между парами, мимо оркестра, мимо столов с пивом, — к двери. Не бегом. Быстро. Прямо. Не оглядываясь.

На улице была ночь. Тёплая, июньская, с запахом скошенного сена с лугов за городом и с цветущей липы где-то рядом. Звёзды. Фонарь у входа. Под фонарём — двое курящих немцев, которые посмотрели на неё и отвернулись.

Она отошла от фонаря. В темноту. За угол. Прислонилась спиной к деревянной стене. Стена была тёплая — нагрелась за день, — и сквозь неё было слышно, как в зале играет оркестр. Всё тот же вальс. Раз-два-три.

Она стояла, прижавшись к стене, и дышала. Долго. Глубоко. Как учила её миссис Коэн учить Лену, — «дыши, мейделе, дыши». Сердце колотилось так, что болело в груди.

Она думала.

Ей было семнадцать лет — двенадцать дней назад, или две недели назад, по новому календарю. Она перешла ручей. Она перешла океан. Она встала на парапет над Невой и не упала. Она ушла от Гарсона. Она держала Лену три часа и первая держала Стеллу. Она не боялась ничего — ни отца, ни жандармов, ни Шмидта, ни метели.

А руки на талии — испугалась. Руки человека, который ничего плохого ей не сделал. Который читает Тургенева. Который рассказывал, как собирал по двору отцовские книги.

Это было несправедливо. Это было глупо. Это было — она искала слово — это было так, будто тот, в гостинице, до сих пор держит её. Будто он не уехал ни в Москву, ни в Варшаву, а остался — здесь, в ней, в её теле, — и решает за неё, чего ей хотеть и чего бояться. Будто ключ до сих пор у него.

Она стиснула кулаки.

Нет. Не у него. Не отдам.

Она не знала, как это сделать. Не знала, что значит — не отдать. Она только знала, что не отдаст. Что вальс — её. Что тело — её. Что если она будет бежать из зала каждый раз, когда кто-нибудь положит ей руку на талию, — то он выиграл. Тот. С ключом.

А она не даст ему выиграть.

Она простояла у стены, может быть, четверть часа. Потом поправила бант. Вытерла лицо рукавом. И вернулась в зал.

Кершнер стоял у стены, там, где она его оставила. Один. Он не танцевал. Он ждал. Увидев её, он сделал шаг навстречу — и остановился. Не подошёл. Ждал, пока подойдёт она.

Она подошла.

— Прости, — сказал он. — Я не хотел... Если я что-то...

— Ты ничего, — сказала Эмма. — Это не ты.

Он смотрел на неё. Не спросил — кто. Не спросил — что. Только смотрел, и в его тёмных глазах было что-то такое, чего она у него ещё не видела. Не жалость. Понимание. Как у человека, который тоже собирал что-то по двору, в грязи.

— Пойдём танцевать? — спросил он тихо. — Или домой?

Оркестр заиграл польку. Быструю, весёлую, с притопом.

— Танцевать, — сказала Эмма.

Они танцевали польку. Он держал её за руку — только за руку. На талию руку не клал. Ни разу за весь вечер. Она это заметила. И была ему благодарна. И одновременно — этого она не могла бы объяснить ни ему, ни Елене, ни себе, — одновременно ей было жаль.

Они танцевали до полуночи. Польку, кадрили, лендлер, снова польку. Вальсы — пропускали. Он сам их пропускал, не спрашивая. Только в самом конце, когда оркестр уже собирался уходить, заиграли последний вальс, и Кершнер посмотрел на неё вопросительно. И она — сама не зная почему — кивнула.

Он положил руку ей на талию. Легко. Почти не касаясь.

Она закрыла глаза. Ждала, что щёлкнет ключ.

Не щёлкнул. Не в этот раз. Было — холодно, страшно, где-то в глубине, — но не щёлкнул. И было — тепло, тянущее, где-то ещё глубже. Два огня. Она танцевала с закрытыми глазами, между ними, как между двух костров, — и не обожглась. Пока.

Домой ехали на последней конке, втроём. Елена сидела напротив и смотрела в окно. Кершнер вышел на своей остановке, снял шляпу, пожелал спокойной ночи. Когда конка тронулась, Елена сказала, не оборачиваясь от окна:

— Я видела. Как ты выбежала.

Эмма молчала.

— Он что-то сделал?

— Нет. Ничего. Он — ничего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.